

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей
ПЛАТОНОВ

РАССКАЗЫ
ТОМ 6



IM WERDEN VERLAG
MOCKBA - AUGSBURG 2004

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЮШКА.....	3
2. МУСОРНЫЙ ВЕТЕР	7
3. ТРЕТИЙ СЫН	16
4. СЕМЁН	19
5. ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ.....	26
6. ВЕТЕР-ХЛЕБОПАШЕЦ.....	36
7. ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ	37
8. ЕЩЁ МАМА	40
9. КОРОВА	44
10. РАССКАЗ О МНОГИХ ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩАХ	50

Текст печатается по изданию:

1.-9. Андрей Платонов. Избранные произведения. Повести, рассказы. М., 1984

10. Андрей Платонов. Собрание сочинений в 5-ти томах. М., 1998

© «Im Werden Verlag». Составление и оформление. 2004

<http://www.imwerden.de>

info@imwerden.de

ЮШКА

Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы.

Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои; он их должен покупать за свое жалованье — семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал, он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой, зимою же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару.

Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться — вон и Юшка уж спать пошел.

А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали:

— Вон Юшка идет! Вон Юшка!

Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку.

— Юшка! — кричали дети. — Ты правда Юшка?

Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор.

Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не сердает на них. И они снова окликали старика:

— Юшка, ты правда или нет?

Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали — вправду ли Юшка живой? Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой.

Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли, — пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали сердать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вокруг него, чтоб он отозвался им злом

и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им.

Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им:

— Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза землей попали, я не вижу.

Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает.

Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его.

Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей: «Вот ты будешь такой же, как Юшка! — Вырастешь, и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!»

Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему:

— Да что ты такой блажной, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?

Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ.

— Слов у тебя, что ли, нету, животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага!.. Ну ладно!

И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе.

Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой.

— Лучше бы ты умер, Юшка, — говорила хозяйская дочь. — Зачем ты живешь?

Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить.

— Это отец-мать меня родили, их воля была, — отвечал Юшка, — мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю.

— Другой бы на твое место нашелся, помощник какой!

— Меня, Даша, народ любит!

Даша смеялась.

— У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь — народ тебя любит!..

— Он меня без понятия любит, — говорил Юшка. — Сердце в людях бывает слепое.

— Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие! — произносила Даша. — Иди скорее, что ль! Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету.

— По расчету они на меня серчают, это правда, — соглашался Юшка. — Они мне улицей ходить не велят и тело калечат.

— Эх ты, Юшка, Юшка! — вздыхала Даша. — А ты ведь, отец говорил, нестарый еще!

— Какой я старый!.. Я грудью с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал...

По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешком в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились.

Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самую Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец.

В июле или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга — чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работающие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и солнечным светом.

По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим.

И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал, — об этом никому в городе не было известно.

Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его.

Юшка смиренно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей сто, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому.

Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним:

— Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться...

И здесь Юшка осерчал в ответ — должно быть, первый раз в жизни.

— А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя!..

Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него:

— Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный!

— Я не равняю, — сказал Юшка, — а по надобности мы все равны...

— Ты мне не мудруй! — закричал прохожий. — Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился, я тебя выучу уму!

Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь.

— Отдохни, — сказал прохожий и ушел домой пить чай.

Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся.

Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен; столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая, ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки.

— Помер, — вздохнул столяр. — Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья!..

Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни.

Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство.

Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина-кузнеца: где ей найти Ефима Дмитриевича?

— Какого Ефима Дмитриевича? — удивился кузнец. — У нас такого сроду тут и не было.

Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее: что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался:

— Уж не Юшка ли он? Так и есть — по паспорту он писался Дмитричем...

— Юшка, — прошептала девушка. — Это правда. Сам себя он называл Юшкой.

Кузнец помолчал.

— А вы кто ему будете? — Родственница, что ль?

— Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, маленькую, в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом... Каждый год он приходил проводить меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он, — он говорил, что работал у вас двадцать пять лет...

— Половина полвека прошло, состарились вместе, — сказал кузнец.

Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его.

Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца...

С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утешать страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

*Посвящается тов. Цахову,
германскому безработному, свидетелю
на Лейпцигском процессе, заключенному в
концлагере Гитлера.*

Оставьте безумие мое.
И подайте тех, Кто отнял мой ум.
«Тысяча и одна ночь»

Над землей взошла утренняя заря на небе, и начался новый сияющий день 16 июля 1933 года. Однако к одиннадцати часам утра этот день уже постарел от действия собственной излишней энергии — от жары, от пылящей ветхости почвы, затмившей пространство, от тления всякого живого дыхания, возбужденного реющим светом, — и летний день стал смутным, тяжким и вредоносным для зрения глаз.

Стихия света проникала через большое горячее окно и освещала одинокого спящего на железной кровати, на бедном белье, взволнованном сонными движениями. Спящий человек был не стар, но обыкновенное лицо его давно посерело от напряжения, с которым уснувший добывал себе жизнь, и непроходящее утомленное отчаяние с костяной твердостью лежало в выражении его лица, как часть поверхности человеческого тела.

Было воскресенье. Из другой комнаты квартиры вышла смуглая жена спящего человека, по имени Зельда, родом с Ближнего Востока, из русской Азии. Она с кроткой тщательностью накинула одеяло на обнажившегося мужа и побудила его:

— Вставай, Альберт. День наступил, я достану чего-нибудь...

Альберт открыл глаза — сначала один глаз, потом другой — и увидел все в мире таким неопределенным и чужим, что взволновался сердцем, сморщился и заплакал, как в детском ужасающем сновидении, когда вдруг чувствуется, что матери нету нигде и вставшие, мутные предметы враждебно двигаются на маленького зажмурившегося человека... Зельда погладила Альберта по лицу, он успокоился, его глаза остановились — чистые, выгоревшие насквозь, глядящие неподвижно, как в слепоте. Он не мог сразу вспомнить, что он существует и что ему надо продолжать жить дальше, он забыл вес и чувство своего тела. Зельда ближе склонилась к нему, увядшая от голода афганка, некогда пышное и милое существо.

— Вставай, Альберт... У меня есть две картошки с ворванью.

Альберт Лихтенберг увидел с ожесточением, что его жена стала животным: пух на ее щеках превратился в шерсть, глаза сверкали бешенством и рот был наполнен слюной жадности и сладострастия; она произносила над лицом возгласы своего мертвого безумия. Альберт закричал на нее и отогнал прочь. Одеваясь, Лихтенберг видел, как плакала Зельда, улегшись на полу; нога ее заголилась — она была покрыта одичалыми волдырями от неопрятности зверя, она даже не зализывала их, она была хуже обезьяны, которая все же тщательно следит за своими органами.

Альберт взял трость и захотел уйти: он потемнел мыслью, эта бывшая женщина иссосала его молодость, она грызла его за бедность, за безработицу, за мужское бессилие и, голая, садилась верхом на него по ночам. Теперь она зверь, сволочь безумного сознания, а он до гроба, навсегда останется человеком, физиком космических пространств, и пусть голод томит его желудок до самого сердца — он не пойдет выше горла, и жизнь его спрячется в пещеру головы.

Альберт ударил тростью Зельду и вышел на улицу, в южную германскую провинцию. Звонили колокола римской веры, из небольшой уличной церкви выходили белые блаженные девушки с глазами, наполненными скорее сыростью любовной железы, чем слезами обожания Христа.

Альберт поглядел на солнце и улыбнулся ему, как далекому человеку. Нет, не солнце, не это всемирное сияние энергии, и не кометы, не бродячие черные звезды закончат человечество на земле: они слишком велики для такого небольшого действия. Люди сами затамят и растерзают себя, и лучшие упадут мертвыми в борьбе, а худшие обратятся в животных.

На крыльцо католического храма вышел римский священник, возбужденный, влажный и красный, — посол бога в виде мочевого отростка человека. Затем из церкви появились старухи, эти женщины, в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в чреве, в его гробовой темноте, истлевали части любви и материнства. Священник благословил с крыльца жаркое пространство и ушел в холодок своей квартиры на церковном дворе.

Мелкие колокола на башне еще продолжали звонить, вознося пропетые молитвы через готическую мучительную вершину храма в неясное небо, затуманенное зноем солнца. Вечные колокола звонили о том же, о чем писали газеты и книги, о чем играла музыка в ночных кафе: «Томись — томись — томись!»

Но уже двадцать лет слышал этот однообразный всемирный звук Альберт Лихтенберг: «Томись!» — и призыв к томлению, к замедлению, к уничтожению жизни все более усиливался, — одно лишь сердце билось невинно и ясно, как непорочное, как не понимающее ничего.

Альберт сел где-то в городе среди потоков жары; день продолжался над ним с тщательностью пустыка, с точностью государственной казни и с терпением неизвестного милосердия. Лихтенберг потрогал дерево, росшее перед ним. Внимательно и нежно он стал глядеть на это деревянное растение, мучимое тем же томленьем, тем же ожиданьем прохладного ветра в этом пыльном, душевном существовании.

— Кто ты? — спросил Лихтенберг.

Ветви и листья склонились к утомленному человеку. Альберт схватил близкую ветвь с той страстью и напряжением одинокого дружелюбия, перед которым вся блаженная любовь на земле незначительна. С дерева упали мертвые бабочки, но живая моль улетела в сухую пустоту.

Лихтенберг сжал трость в руке; он пошел дальше с яростью своего жесткого сознания, он чувствовал мысли в голове, вставшие, как щетина, продирающиеся сквозь кость. В тлеющем, измученном воздухе он увидел площадь города. Большой католический собор, как сонное тысячелетие, как организованное в камень страдание, стоял сосредоточенно и безмолвно, опираясь глубоко в могилы своих строителей. Снизу поднимался мусор: человек сто национал-социалистов, в коричневой прозодежде своего мировоззрения, монтировали памятник Адольфу Гитлеру. Памятник был привезен готовым на грузовике, его отлили из качественной бронзы в Эссене. Другой грузовик, имея кран на своей площадке, сгрузил памятник вниз, а еще четыре грузовых машины одновременно привезли тропические растения в синих ящиках морского цвета. Национал-социалисты трудились, не жалея одежды; их белье прело от пота, кости изнашивались, но им хватало и одежды и колбасы, потому что в тот час миллионы машин и угрюмых людей напрягались в Германии, обслуживая трением металла и человеческих костей славу одного человека и его помощников.

Из центральной улицы города вышла единодушная толпа — в несколько тысяч человек, толпа пела песнь изнутри своей утробы — Лихтенберг ясно различал бас пищевода и тенор дрожащих кишок. Толпа приблизилась к памятнику; лица людей означали счастье: удовольствие силы и бессмыслия блестело на них, покой ночи и пищи был обеспечен для каждого темным могуществом их собственного количества. Они подошли к памятнику, и авангард толпы провозгласил хором приветствие — человеку, изображенному из бронзы, — а затем вступили в помощь работающим, и мусор поднялся от них с силой стихии, так что Лихтенберг почувствовал перхоть даже в своей душе. Другие тысячи и миллионы людей тоже топтали сейчас старую трудную землю Германии, выражая одной своей наличностью радость спасителю древней родины и современного человечества. Миллионы могли теперь не работать, а лишь

приветствовать; кроме них, были еще сонмы и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и безмянными. Ни приветствующие, ни безмолвные не добывали даже черного хлеба, но ели масло, пили виноградное вино, кормили по одной верной жене. Сверх того, по Германии маршевыми колоннами ходили вооруженные армии, охраняющие славу правительства и порядок преданности ему, — и эти колонны немых, сосредоточенных людей ежедневно питались ветчиной, и правительство поддерживало в них героический дух безбрачия, но снабдило пипетками против заражения сифилисом от евреек (немецкие женщины сифилисом сознательно не болели, от них даже не исходило дурного запаха благодаря совершенному расовому устройству тела).

Лихтенберг тоже не трудился — он мучился. Все видимые им людские количества либо погибали от голода и безумия, либо шагали в рядах государственной охраны. Кто же кормил их пищей, одевал одеждой и снабжал роскошью власти и праздности?.. Где живет пролетариат? Или он утомился и умер, истратившись в труде и безвестности? Кто же, бедный, могучий и молчаливый, содержит этот мир, который истощается в ужасе и остервенелой радости, а не в творчестве и ограждает себя частоколом идолов?

В изнеможении стоял Альберт Лихтенберг на старой католической площади, озираясь с удивлением в этом царстве мнимости; он и сам лишь с трудом чувствовал свое существование, напрягаясь для каждого воспоминания о самом себе; обычно же он себя постоянно забывал, может быть, излишек страдающего сознания выключал в нем жизнь, дабы она сохранилась хотя бы в своем грустном беспомыслии!..

Чуждый всякому соображению, равнодушный, как несуществующий, Лихтенберг подошел к радиатору грузовика. Трепещущий жар выходил из железа; тысячи людей, обратившись в металл, тяжело отдыхали в моторе, не требуя больше ни социализма, ни истины, питаясь одним дешевым газом. Лихтенберг прислонился лицом к машине, как к погибшему братству; сквозь щели радиатора он увидел могильную тьму механизма, в его теснинах заблудилось человечество и пало мертвым. Лишь изредка среди пустых заводов стояли немые рабочие; на каждого из них приходилось по десяти человек государственной гвардии, и каждый рабочий делал в день сто лошадиных сил, чтобы они кормили, утешали и вооружали господствующую стражу. Один убогий труженик содержал десять человек торжествующих господ, но эти десять господ, однако, не радовались, а жили в тревоге, сжимая оружие в руках — против бедных и одиноких.

Над радиатором автомобиля висела золотая полоска материи с надписью черными буквами: «Почитайте вождя германцев — мудрого, мужественного, великого Адольфа! Вечная слава Гитлеру!» По обеим сторонам надписи были знаки свастики, как следы лапок насекомого.

— Прекрасный девятнадцатый век, ты ошибся! — сказал Лихтенберг в пыль воздуха, и мысль его вдруг остановилась, превратившись в физическую силу. Он поднял тяжелую трость и ударил ею машину в грудь — в радиатор, так, что смялись его соты. Национальный шофер молча вышел из-за руля и, сжав туловище худого физика, ударил его головой с равнозначной силой о тот же радиатор. Лихтенберг свалился в земной сор и там полежал без ощущения; это уже не было для него страданием — он и без того очень мало чувствовал себя, как насущное тело и как эгоиста, а голова его болела от сорной действительности больше, чем от ударов о железо...

Слабо белел день над его зрением, он глядел в него не моргая; пыль набилась в его глазницы, и оттуда текли слезы, чтобы смыть щекочущую грязь. Над ним стоял шофер; все съеденные им за свою жизнь животные — коровы, бараны, овцы, рыбы, раки, — переварившись внутри, оставили в лице и теле шофера свое выражение остервенения и глухой дикости. Лихтенберг встал, ткнул тростью животное туловище шофера и отошел от машины. Шофер остался в удивлении — перед таким фактом невнимательного мужества — и забыл вторично ударить Лихтенберга.

В пространстве шел ветер с юга, неся из Франции, Италии, Испании житейский мусор и запах городов, остатки взволнованного шума, обрывающийся голос человека... Лихтенберг повернулся лицом навстречу ветру; он услышал далекую жалобу женщины, грустный крик толпы, скрежет машинных скоростей, пение влажных цветов на берегу Средиземного моря. Он вникнул в эту невнятность, в безответное долгое течение воздуха, наполненное воплем над безмолвием местной суеты.

Лихтенберг подошел к труженикам у памятника. Работа людей уже прекращалась. На чугунном цилиндре стояло бронзовое человеческое полутело, заканчивающееся сверху головой.

На лице памятника были жадные губы, любящие еду и поцелуи, щеки его потолстели от всемирной славы, а на обыкновенный житейский лоб оплаченный художник положил резкую морщину, дабы видна была мучительная сосредоточенность этого полутела над организацией судьбы человечества и ясен был его напряженный дух озабоченности. Грудь фигуры выдавалась вперед, точно подтягиваясь к груди женщины, опухшие уста лежали в нежной улыбке, готовые к страсти и к государственной речи, — если придать памятнику нижнюю половину тела, этот человек годился бы в любовники девушке, при одном же верхнем полутеле он мог быть только национальным вождем.

Лихтенберг улыбнулся; одна радость еще не оставила его — он мог нечаянно, по забывчивости, думать.

— Прекрасный девятнадцатый век! — громко сказал Лихтенберг в окружавший его удушающий дух жары, машин и людей; национал-социалисты прислушались к его неясной речи: их вождь сравнил некогда мысль и слово с семейным браком, — если мысль верна лишь вождю, как своему мужу, она полезна; если она бродит в сумраке ночи, по домам отчаяния, ища удовлетворения своего в развратном сомнении и блюде с одною грустью своею, — тогда мысль бессмысленна, организованная голова должна ее уничтожить, она опасней коммунизма и Версальского договора, сложенных вместе. — Великий век! — говорил Лихтенберг. — В конце твоего времени ты родил Адольфа Гитлера: руководителя человечества, самого страстного гения действия, проникшего в последнюю глубину европейской судьбы!..

— Верно! Хайль Гитлер! — закричали присутствующие массы национал-социалистов.

— Хайль Гитлер!.. Ты будешь царствовать века — ты прочнее всех императорских династий: твоему господству не будет конца, пока ты сам не засмеешься или пока смерть не уведет тебя в наш общий дом под травой! Что за беда! После тебя будут другие, более яростные, чем ты... Ты первый понял, что на спине машины, на угрюмом бедном горбу точной науки надо строить не свободу, а упрямую деспотию! Ты собираешь безработных, всех мрачных и блуждающих, которых освободила машина, под свои знамена, в гвардию своей славы и охраны... Ты скоро возьмешь всех живых в свои соратники, и те немногие утомленные люди, которые останутся у машин, чтобы кормить твою армию, не сумеют уничтожить тебя. Императоры гибли, потому что их гвардию кормили люди, но люди отказывались. Ты не погибнешь, потому что твою гвардию будут кормить механизмы, огромный излишек производительных сил! Ты не исчезнешь и победишь кризис...

— Хайль Гитлер!..

— Ты изобрел новую профессию, где будут тяжело уставать миллионы людей, никогда не создавая перепроизводства товаров, они будут ходить по стране, носить обувь и одежду, они уничтожат избыток пищи, они будут в радости и в поту прославлять твое имя, наживать возраст и умирать... Эта новая промышленность, труд по воодушевлению народа для создания твоей славы, окончит кризис и займет не только мускулы, но и сердце населения и утомит его покоем и довольством... Ты взял себе мою родину и дал каждому работу — носить твою славу...

Лихтенберг осмотрелся в томлении. С непрерывной силой горел солнечный центр в мусорной пустоте пространства, сухие насекомые и различные пустяки с раздражением шумели в воздухе, а люди молчали.

— Землю начинают населять боги, я не нахожу следа простого человека, я вижу происхождение животных из людей... Но что же остается делать мне? Мне — вот что!..

С силой своего тела, умноженного на весь разум, Лихтенберг ударил дважды палкой по голове памятника, и палка лопнула на части, не повредив металла; машинное полутело не почувствовало бешенства грустного человека.

Национал-социалисты взяли туловище Лихтенберга себе на руки, лишили его обоих ушей и умертвили давлением половой орган, а оставшееся тело обмяли со всех сторон, пройдя по нему маршем. Лихтенберг спокойно понимал свою боль и не жалел об исчезающих органах жизни, потому что они одновременно были средствами для его страдания, злостными участниками движения в этой всемирной духоте. Кроме того, он давно признал, что прошло время теплого, любимого, цельного тела человека: каждому необходимо быть увечным инвалидом. Потом он уснул от слабости, давая возможность, чтобы кровь запеклась на ранах. Ночью он очнулся; звезд не было, шел мелкий острый дождь, настолько мелкий, что он казался сухим и нервным, как перхоть.

Неизвестный человек поднял Лихтенберга от подножия памятника и понес куда-то. Лихтенберг удивился, что есть еще незнакомые нежные руки, которые, прячась ночью, несут молча чужого калеку к себе домой. Но вскоре человек принес Лихтенберга в глубь черного двора, открыл дверь сарая над помойной ямой и бросил туда Лихтенберга.

Лихтенберг зарылся в теплую сырость житейских отходов, съел что-то невидимое и мягкое, а затем снова уснул, согрившись среди, тления дешевого вещества.

Из экономии хозяин дома подолгу не вывозил мусор из помойного помещения, поэтому Лихтенберг прожил долго в кухонной мишуре, равнодушно вкушая то, что входит в тело и переваривается там. По телу его — от увечных ран и загрязнения — пошла сплошная темная зараза, похожая на волчанку, а поверх ее выросла густая шерсть и все покрыла. На месте вырванных ушей также выросли кусты волос, однако он сохранил слух правой стороной головы. Ходить он больше не мог — рядом с мужским органом у него повредились ноги, и они перестали управляться. Только раз Лихтенберг вспомнил свою жену Зельду, без сожаления и без любви, — одною мыслью в костяной голове. Иногда он бормотал сам себе разные речи, лежа в рыбных очистках, — хлебные корки попадались очень редко, а картофельные шкурки — никогда. Лихтенберг удивлялся, отчего ему не отняли язык, это государственная непредусмотрительность: самое опасное в человеке вовсе не половой орган — он всегда однообразный, смирный реакционер, но мысль — вот проститутка, и даже хуже ее: она бродит обязательно там, где в ней совсем не нуждаются, и отдается лишь тому, кто ей ничего не платит! «Великий Адольф! Ты забыл Декарта: когда ему запретили действовать, он от испуга стал мыслить и в ужасе признал себя существующим, то есть опять действующим. Я тоже думаю и существую. А если я живу, — значит, тебе не быть! Ты не существуешь!»

— Декарт дурак! — сказал вслух Лихтенберг и сам прислушался к звукам своей блуждающей мысли: что мыслит, то существовать не может, моя мысль — это запрещенная жизнь, и я скоро умру... Гитлер не мыслит, он арестовывает, Альфред Розенберг мыслит лишь бессмысленное, папа римский не думал никогда, но они существуют ведь!

Пусть существуют: большевики скоро сделают их краткой мыслью в своем воспоминании...

Большевики! Лихтенберг в омраченной глубине своего ума представил чистый, нормальный свет солнца над влажной, прохладной страной, заросшей хлебом и цветами, и серьезного, задумчивого человека, идущего вослед тяжелой машине. Лихтенбергу стало вдруг стыдно того далекого, почти грустного труженика, и он закрыл рукою во тьме свое опечаленное лицо... Он стал печален от горя, что его тело уже истрачено, в чувстве нет надежды, и он

никогда не увидит прохладной ржаной равнины, над которой проходят белые горы облаков, освещенные детским, сонным светом вечернего солнца, и его ноги никогда не войдут в заросшую траву. Он не будет другом громадному, серьезному большевику, молча думающему о всем мире среди своих пространств, — он умрет здесь, задохнувшись мусорным ветром, в сухом удушье сомненья, в перхоти, осыпавшейся с головы человека на европейскую землю.

Житейские отбросы все более уменьшались. Лихтенберг съел все мягкое и более или менее достойное пищи. Наконец в помойном коробе осталась одна только жесть и осколки керамических изделий.

Лихтенберг уснул с туманным умом и во сне увидел большую женщину, ласкавшую его, но он мог лишь плакать в ее тесной теплоте и жалобно глядеть на нее. Женщина молча сжала его, так, что он почувствовал на мгновенье, что ноги его могут бежать собственной силой, — и он закричал от боли, схватил чужое тело в руку. Он поймал крысу, грызущую его ногу во сне: крыса рвалась жить с могучим рациональным нетерпением и утопала зубами в руке Лихтенберга; тогда он ее задушил. Потом Лихтенберг опробовал свок рану от крысы; рана была рваная и влажная, крыса много выпила его крови отъела верхнее мясо и изнурила его жизнь, — теперь сила Лихтенберга хранилась в покойном животном.

Лихтенберг почувствовал скупость к бедному остатку своего существования, ему стало жалко худое тело, принадлежащее ему, истраченное в труде и томлении мысли, растравленное голодом до извести костей, не наслаждавшееся никогда. Он добрался до мертвой крысы и начал ее есть, желая возвратить из нее собственное мясо и кровь, накопленные на протяжении тридцати лет из скудных доходов бедности. Лихтенберг съел маленького зверя вплоть до его шерсти и уснул с удовлетворением своего возвращенного имущества.

Утром собака, как нищенка, испуганно пришла в помойное место. Лихтенберг сразу понял, увидя эту собаку, что она — бывший человек, доведенный горем и нуждой до бессмысленности животного, и не стал пугать ее дальше. Но собака, как только заметила человека, задрожала от ужаса, глаза ее увлажнились смертельной скорбью, — утратив силу от страха, она с трудом исчезла прочь. Лихтенберг улыбнулся: когда-то он работал над изучением космического пространства, составлял грезящие гипотезы о возможных кристаллических ландшафтах на поверхности далеких звезд, — все это делалось с тайной целью — завоевать разумом вселенную, — теперь же, если бы звездная вселенная стала доступна, люди в первый же день разбежались бы друг от друга и стали бы жить в одиночестве, на расстоянии миллиардов километров один от другого, а на земле бы вырос растительный рай, и его населили бы птицы.

Днем уличная полицейская власть изъяла Лихтенберга из его убежища и отвезла, как прочих преступных и безымянных, в концлагерь, огороженный тройной сетью колючей проволоки. Среди лагерной площади были землянки, вырытые для долгой жизни загнанными сюда людьми.

В лагерной конторе у Лихтенберга не стали спрашивать ничего, а осмотрели его, полагая, что это — едва ли человек. Однако на всякий случай его оставили в бессрочном заключении, написав в личном формуляре: «Новый возможный вид социального животного, обрастает волосным покровом, конечности слабеют, половые признаки неясно выражены, и к определенному сексуальному роду этого субъекта, изъятого из общественного обращения, отнести нельзя, по внешней характеристике головы — дебил, говорит некоторые слова, произнес без заметного воодушевления фразу — верховное полутело Гитлер — и умолк. Бессрочно».

На пространстве лагеря росло одно дерево. Лихтенберг вырыл под корнем дерева небольшую пещеру и поселился в ней для неопределенного продолжения своей жизни. Вначале его сторонились заключенные и он сам держался уединенно от них. Но потом один коммунист полюбил Лихтенберга. Это был молодой человек с черными внимательными глазами, покрытый по лицу прыщами от напора органической силы и бездействия. Он носил Альберта на руках,

как мелкое, краткое тело, и говорил ему, что тосковать не надо: солнце всходит и заходит, растут ветви в лесах, в океан социализма течет историческое время; фашизм же кончится всемирной гигантской насмешкой — это улыбнутся молчаливые скромные массы, уничтожив господство живых и бронзовых идолов.

Лихтенберг пожил в лагере и постепенно успокоился. Он ждал только вечернего времени, когда возвращаются с работы заключенные, варят себе похлебку и разговаривают. Лихтенберга на работу не посылали, потому что он мог лишь ползти по земле. Ему теперь было ничего не жалко и не страшно: ни прожитой жизни, ни любви к женщинам, ни будущей темной судьбы; он лежал в пещере весь день и слушал, как шумит гнусная пыль в воздухе и пробегают поезда по насыпи, развозя чиновников правительства по делам их господства. Когда же раздавались голоса за колючей проволокой и гремело оружие конвоя, Лихтенберг вылезал навстречу людям — в радости своего страстного и легкого чувства к ним.

Он дружил больше всего с коммунистами: голодные невольники, они играли и бегали по вечерам, как ребятишки, веря в самих себя больше, чем в действительность, потому что действительность заслуживала лишь уничтожения, и Лихтенберг елозил между ними, принимая участие в этой общей детской суете, скрывавшей за собою терпеливое мужество. Потом он засыпал со счастьем до утра и рано вставал провожать своих товарищей на работу. Однажды, роясь в бурьяне в поисках еды, он нашел обрывок газеты и прочитал в нем про сожжение своей брошюры «Вселенная — безлюдное пространство». Брошюра была издана еще пять лет тому назад и посвящалась доказательству пустынности космического мира, наполненного почти сплошь одними минералами. Уничтожение книжки подтверждало, что и земля делается безлюдной и минеральной, но это не огорчило Лихтенберга; ему хотелось лишь, чтобы каждый день был вечер и он мог быть счастливым один час среди усталых, невольных людей, предающихся своей дружбе, как маленькие дети предаются ей в своих играх и воображении на заросших дворах ранней родины.

В конце лета, во время очередной ночи, Лихтенберг неожиданно проснулся. Его разбудила женщина, стоявшая около дерева. Женщина была в длинном плаще, в маленькой круглой шапке, не скрывавшей ее локонов, с изящным телом, грустно расположенным под одеждой, — это была, очевидно, девушка. Рядом с нею стояли два стражника.

Сердце Лихтенберга стало сильно биться в тоске: лишенный способности к любви и даже к вертикальному движению на ногах, он, однако, сейчас попытался встать на обе ноги, томимый стыдом и страхом перед женщиной, и ему удалось устоять при помощи палки. Женщина пошла, и Лихтенберг последовал за ней, снова чувствуя твердеющую силу в ногах. Он не мог ничего спросить у нее, волнение его не прекращалось, он шел, отставая немного, и видел одну щеку ее лица, она же глядела все время в сторону от Лихтенберга, в предстоящую тьму дороги.

В конторе лагеря их ожидал суд из трех военных людей. Женщина остановилась позади Лихтенберга. Судья объявил Лихтенбергу, что он осуждается на расстрел — вследствие несоответствия развития своего тела и ума теории германского расизма и уровню государственного умозрения: в целях жесткого оздоровления народного организма от субъектов, впавших в состояние животности, в целях профилактики от заражения расы беспородными существами*.

— Ваше слово! — предложил судья Лихтенбергу.

— Я безмолвный, — сказал Лихтенберг.

— Гедвига Вотман! — произнес судья. — Вы член местной коммунистической организации. Со времени национальной революции насмешка над верховным вождем не сходила с вашего лица. С того же момента вы, находясь уже в заключении, отказали в браке и в ответной любви двум высшим офицерам национальной службы, оскорбив их расовое достоинство. Решение суда: уничтожить вас, как личного врага племенного гения тевтонов. Имеете слово?

* Смертная казнь посредством топора и палача была введена позже.

— Имею, — с улыбкой ума и иронии ответила спутница Лихтенберга. — Два офицера получили отказ в моей любви потому, что я оказалась женщиной, а они не оказались мужчинами...

— Как — не мужчины?! — воскликнул судья, потрясаясь фактом.

— Их надо расстрелять за потерю способности к деторождению, к размножению первоклассной германской расы! Они, немцы, способны были любить только по-французски, а не по-тевтонски: они враги нации!

— Вы коммунистка? — спросил член суда.

— Ясно, — сказала Вотман. — Но для ответа по этому вопросу я прошу дать мне ваше оружие!

Ей отказали в просьбе.

Судья сделал коменданту обычное распоряжение о казни.

— Введите следующую пару ублюдков! — приказал судья далее.

Лихтенберга и Гедвигу Вотман вывели из пределов лагеря. Четыре офицера конвоировали их, держа готовые револьверы в руках. Впереди шли двое уголовных, несших на головах по тесовому гробу, сделанных в лагере их же руками.

Гедвига Вотман шла по-прежнему изящная и нескучная, точно уходила не в смерть, а в перевоплощение. Она дышала тем же мусорным воздухом, что и Лихтенберг, голодала и мучилась в неволе, ожидала коммунизма, она шла погибать, — но ни скорби, ни болезни, ни страха, ни сожалению, ни раскаянию она не уступила ничего из своего тела и сознания — она покидала жизнь, сохранив полностью все свои силы, годные для одержания трудной победы и долговечного торжества. Омрачающие стихии врага остановились у ее одежды и не тронули даже поверхности ее щек, — здоровая и молчаливая, она шла ночью вслед за своим гробом и не жалела о несбывшейся жизни, как о пустяке. Но зачем же тогда она яростно и губительно боролась за рабочее сословие, как за вечное личное счастье?

Лихтенбергу казалось даже, что от Гедвиги Вотман исходил влажный запах здорового смысла и пота здоровых, полных ног, — в ней ничего не засохло от горячего мутного ветра, и достоинство ее пребывало внутри самого се одинокого тела, окруженного конвоем.

Грбовщики спустились в полевую долину и пошли дальше по ее глухому дну. Вскоре стали видны постройки давно заброшенного керамического завода, и приговоренных к уничтожению ввели в темную теснину между заводскими стенами.

Лихтенберг близко держался около Гедвиги Вотман и плакал от своего безумия. Он думал об этой неизвестной женщине с такою грустью, точно подходил к концу света, но жалел о кончине лишь этой своей преходящей подруги. Шествие повернуло за угол стены, гробовщики скрылись за каким-то неопределенным предметом. Конвойный офицер, шедший слева от Лихтенберга, попал на край пропасти, вырытой для какого-то могучего механизма, и пошел по ней осторожно и благополучно; но Лихтенберг внезапно толкнул его — по детской привычке сунуть что-нибудь в пустое место. Офицер исчез вниз и вскрикнул оттуда, одновременно со скрежетом железа и трением своих трескающихся костей. Три остальных конвойных офицера сделали движение к провальной яме, а Гедвига Вотман взмахнула краем плаща и беззвучно, с мгновеньем птицы скрылась от конвоя и от Альберта Лихтенберга навсегда. Три офицера, думая, что преступница удалилась не далее нескольких шагов, бросились за ней, дабы немедленно настигнуть ее и сейчас же возвратиться.

Лихтенберг остался один в недоумении. Офицер в яме давно умолк. Уголовные с гробами на головах — как отошли вперед, так и не вернулись. Вдалеке, уже в чистом поле, послышались два выстрела: Гедвига Вотман исчезала все более далеко и невозвратно; настигнуть ее было нельзя никому. Лихтенбергу захотелось, чтобы ее поймали и привели; он не мог теперь обойтись без нее, он желал посмотреть на нее еще хотя бы самое краткое время.

Никто не возвращался. Лихтенберг прилег на землю. Раздался еще один глухой выстрел, бессильный и неверный — в далекой ночи. Вслед за тем в лагере зазвонил колокол боевой

тревоги. Лихтенберг поднялся и пошел понемногу с того места, где должна бы быть его вечная гробница, в одной могиле с телом Гедвиги; через десять лет, когда гробы и тела в них сотлели бы, когда земной прах нарушился, скелет Альберта обнял бы скелет Гедвиги — на долгие тысячелетия. Лихтенберг пожалел сейчас, что этого не случилось.

Наутро Лихтенберг пришел в незнакомый ему рабочий поселок, где стояли шесть или восемь домов. Начинался осенний светлый день, ослабевший сор шевелился на безлюдной дороге между жилищами, издали поднималось солнце в свою высшую пустоту. Альберт дошел до крайнего дома, не встретив никого. Он очутился на околице у колодца и здесь увидел на ней памятник Гитлеру: пустынное бронзовое полутело; против лица гения находился букет железных цветов в каменной урне. Лихтенберг внимательно поглядел в металлическое лицо, ища в нем выражения.

Уйдя от памятника, он вошел в дом. Внутри дома никого не было, в запыленной постели лежал мертвый мальчик. Лихтенберг почувствовал в себе странную легкую силу, он быстро посетил еще два жилища и не нашел в них ни жителей, ни животных; с деревьев на усадьбах была содрана кора, и они засохли; из отверстий отхожих мест ничем не пахло.

В последнем доме этого вымершего или изгнанного городка сидела женщина и одной рукой качала люльку, подвешенную к потолку, а другой рукой все время кутала и укрывала одеялом ребенка, который спал в люльке. Лихтенберг спросил у той женщины что-то, она не ответила ему. Глаза ее не моргали и смотрели в колыбель с долгой сосредоточенной грустью, ставшей уже равнодушной от своего терпения. Лицо женщины имело от голода и утомления коричневый цвет, как рубашка фашиста, наружное, подкожное мясо ушло на внутреннее питание, так что с костей ее сошла вся плоть, как осенняя листва с дерева, и даже мозг ее из-под черепа рассосался по туловищу для поддержания сил, поэтому женщина жила сейчас без ума, память ее забыла необходимость моргать веками глаз, размер ее тела уменьшился до роста девочки, только одно горе ее действовало по инстинкту. Она с непрерывной энергией все качала и качала дешевую люльку и с неутомимой, берегущей нежностью укрывала спящего ребенка от неощутимого для Лихтенберга холода.

— Он уснул уже, — сказал Альберт.

— Нет, они никак не засыпают, — ответила теперь мать. — Я их качаю вторую неделю. Все время зябнут и заснуть не могут.

Лихтенберг наклонился над колыбелью; женщина отвернула ему одеяло сверху: в люльке на общей маленькой подушке лежали с открытыми глазами две почерневших головы умерших детей, обращенных лицами друг к другу; Лихтенберг снял одеяло вовсе и увидел мальчика и девочку, лет по пяти или шести, уже сплошь покрытых трупными пятнами, — мальчик положил одну руку на сестру — для защиты ее от ужаса наступившей вечности, а девочка — сестра держала руку ладонью под щекой, доверчиво и по-женски; ноги их остались немывтыми со времени последней игры на дворе, и синева холода — изморозь — действительно распространялась по тонкой коже обоих детей.

Мать снова укрыва покойных одеялом.

— Видишь, как озябли, — сказала она, — поэтому и уснуть не могут! Лихтенберг опустил пальцем веки на четырех детских глазах и сказал матери:

— Теперь они уснули!

— Спят, — согласилась женщина и перестала качать колыбель.

Лихтенберг пошел в кухню, разжег в ней очаг, пользуясь для топлива мебельной утварью, и поставил на огонь большую кастрюлю с водой. Когда вода закипела, Альберт пошел к женщине и предупредил ее, что он сейчас поставит вариться мясо, пусть она не засыпает — скоро они будут обедать вдвоем; если же он сам нечаянно заснет на кухне, пусть она поглядит за мясом и обедает одна, когда кушанье поспеет, не ожидая его пробуждения. Женщина согласилась подождать и пообедать и велела Альберту положить в кастрюлю особый и лучший кусок — для ее детей.

В кухне Лихтенберг как можно сильнее разжег огонь, взял косарь и начал рубить от заросших пахов свою левую, более здоровую ногу. Рубить было трудно, потому что косарь был давно не наточен, и говядина не поддавалась; тогда Альберт взял нож и наскоро срезал свое мясо вдоль кости, отделив его большим пластом до самого колена; этот пласт он управился еще разрубить на два куска — один получше, другой похуже — и бросил их вариться в кипящую кастрюлю. Затем он выполз наружу, на разгороженный двор, и лег лицом в землю. Обильная жизнь уходила из него горячим ручьем, и он слышал, как впитывалась его кровь в ближнюю сухую почву. Но он еще думал; он поднял голову, оглядел пустое пространство вокруг, остановил глаза на далеком памятнике спасителю Германии и забыл себя — по своему житейскому обыкновению.

Через два часа весь суп выкипел и мясо изжарилось на собственном сале, огонь же потух.

Вечером в этот дом пришел полицейский и с ним молодая женщина с восточным тревожным лицом. Полицейский разыскивал при помощи женщины государственного преступника, а женщина, не зная мысль полиции, искала при помощи государства своего бедного безумного мужа.

Полицейский и его спутница нашли в доме мертвую женщину, уткнувшуюся лицом в колыбель с двумя детьми, так же одинаково мертвыми. Мужчины здесь не было.

Увидев в кухонном очаге кастрюлю с питательным и еще теплым мясом, уставший полицейский сел кушать его себе на ужин.

— Отдохните, фрау Зельда Лихтенберг, — предложил полицейский.

Но взволнованная женщина не послушалась его и вышла бесцельно из дома — через его кухонную дворовую дверь.

Зельда увидела на земле незнакомое убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его туфель, увидела, что это, может быть, даже первобытный человек, заросший шерстью, но скорее всего это большая обезьяна, кем-то изувеченная и одетая для шутки в клочья человеческой одежды.

Вышедший потом полицейский подтвердил догадку Зельды, что это лежит обезьяна или прочее какое-нибудь ненужное для Германии, ненаучное животное; в одежду же его нарядили молодые наци или штальгеймы: для политики.

Зельда и полицейский оставили пустой поселок, в котором жизнь людей была прожита без остатка.

ТРЕТИЙ СЫН

В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: «Мать умерла приезжай отец».

Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось ему, тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу, — может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой.

И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание; даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье.

После отправления телеграмм старый отец вернулся домой; он сел на табуретку около длинного стола, у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке, иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым

менялась погода в природе, — то падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило позднее солнце, нетеплое, как звезда, — и старик ждал сыновей.

Первый, старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные пять сыновей собрались в течение двух следующих суток.

Один из них, третий по старшинству, приехал вместе с дочкой, шестилетней девочкой, никогда не выдавшей своего деда.

Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, — пока не умерла.

Громадные мужчины — в возрасте от двадцати до сорока лет — безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было шесть человек, седьмым был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой, незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами.

Сыновья молча плакали редкими, задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один раньше всех, а теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. Двое из них были моряками — командирами кораблей, один — московским артистом, один, у которого была дочка, — физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро и седьмой отец, бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое непрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда — через тысячи верст — находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильней от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп, она больше никого не могла любить и лежала, как равнодушная чужая старуха.

Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе, — весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание.

Умирая, старуха наказала мужу-старику, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома, а уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтоб они могли идти за ее гробом. Старуха не столько верила в бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв, при свете восковых свечей над ее посмертным лицом; она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец, привел под вечер одного человека — тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре; в ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу, епитрахиль и маленькое кадило на цепочке. Он быстро оставил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и с ходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги; им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно, в затылок друг другу, стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, пел и бормотал пожилой

человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился, — это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении.

Окончив скорую панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверью. В сущности же, он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений, — для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски, — но ему не дали оттуда ответа.

Вечером отец постелил шесть постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где сорок лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала, одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой.

Старик постоял над ней в ночном сумраке; выпавший снег на улице собирал скудный рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: «Отдыхай теперь». Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет — там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор.

Девочка от шума начала ворочаться, может быть, она тоже не спала, только боялась высунуть голову из-под одеяла — от страха перед ночью и мертвой старухой.

Старший сын с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно, чувствовались его здоровые, вовремя отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья-моряки рассказывали случаи в иностранных портах и затем хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями «голова», «ноги», чтобы стелить одеяло правильно и грязным, потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили все вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг друга и радовались своему свиданью. Уже много лет они не съезжались все вместе и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца? Развозившись, два брата опрокинули стул, тогда они на минуту притихли, но, вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжали свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь вполголоса: он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал: что ему трудно начать ни с того, ни с сего, ни под слово. «Ну, закройте меня чем-нибудь», — попросил московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтоб не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали — так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала:

— Дедушка! А дедушка! Ты спишь?

— Нет, я не сплю, я ничего, — сказал старик и робко покашлял. Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу: оно было мокрое.

— Ты что плачешь? — шепотом спросил старик.

Мне бабушку жалко, — сказала внучка. — Все живут, смеются, а она одна умерла.

Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно, она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо и спросила:

— А почему ты тоже плачешь? Я перестала.

Дед погладил её головку и шепотом ответил:

— Так... Я не плачу, у меня пот идет.

Девочка сидела на кровати около изголовья старика.

— Ты по старухе скучаешь? — говорила она. — Лучше не плачь: ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать.

— Я не буду, — тихо отвечал старик.

В другой шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого-физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука: он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил всех своих братьев, и они перестали даже разговаривать.

Вскоре оттуда открылась дверь и вышел третий сын, одетый как днем! Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому.

Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания.

Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по столу, и сам упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука, — закричала только его дочь.

Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго.

Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать, а старик взял внучку на руки и пошел им вслед; он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.

СЕМЕН

(Рассказ из старинного времени)

Семилетний ребенок весь долгий летний день своей жизни был занят работой: он заботился о двух братьях, еще более маленьких, чем он. Самую же меньшую сестру пока еще нянчила сама мать, и старший семилетний сын до некоторого времени как бы отдыхал от нее. Но он знал, что скоро и сестра будет отдана в его хозяйство, потому что у матери опять подымался живот, хотя она и говорила сыну, что это от еды. Отец и мать семилетнего Семена

Пономарева были люди добрые, поэтому мать постоянно рожала детей; чуть откормив грудью одного, она уже починала другого.

— Пускай живут, — говорил отец, узнав, что жена опять понесла, — чего им там томиться?

— Папа, а где они там? — спрашивал Семен. — Они там мертвые?

— А то какие же? — говорил отец. — Раз с нами не живут, то мертвые.

— Они там мучаются? — узнавал Семен.

— Ты видишь, сюда все лезут — значит, мучаются, — сообщал отец. — С нами им плохо: ты уж большой — сам знаешь, а там еще хуже...

— У нас плохо, — говорила мать, засовывая хлебную жвачку в рот самой меньшей дочери. — Ох, плохо...

Отец глядел на мать кроткими, сильными глазами.

— Ничего. Пусть растут: не жить им — еще хуже.

Лишь года три-четыре после своего рождения Семен отдыхал и жил в младенчестве, потом ему стало некогда. Отец сам сделал тележку из корзины и железных колес, а мать велела Семену катать по двору маленького брата, пока она стряпает обед. Среди дня маленький брат спал, но вскоре просыпался и плакал, — тогда его приходилось опять возить по двору кругом — мимо сарая, нужника, калитки в сад, мимо флигеля, плетня, мимо ворот на улицу и снова к сараю. Затем, когда родился и подрос еще один брат Семена, он их сажал в тележку сразу двоих и тоже возил по двору кругом, пока не умаривался. Уморившись, он просил у матери хлеба в окно, и она ему давала кусок, а Семен снова усердно упирался руками в грядущку тележки и вез ее перед собой, забываясь в долгом путешествии среди соломинок, сора, камешков и редких травинок двора; он глядел на них вниз сонными глазами и шептался с ними о чем-то или думал в уме, что они тоже такие, как он, и нечего ему скучать, они ведь молчат и не скучают — ни соломинки, ни трава. Иногда Семен разговаривал со своими братьями в тележке, но они мало понимали его и любили плакать; если они плакали долго, то Семен их наказывал, давая каждому рукой по голове, но редко. Семен видел, что его братья — жалкие люди и, может быть, плачут от испуга, что их обратно прогонят туда, где они были мертвые, когда не рожались. «Пусть живут», — соглашался Семен.

Время от времени Семен спрашивал у матери в окно:

— Мама, пора?

— Нет, нет, катай их еще! — отвечала мать из комнаты.

Она там стряпала, кормила и качала последнюю девочку, стирала, штопала и чинила белье, мыла полы, бедные деньги берегла, как большие, сама дрова с девчонкой на руках ходила собирать около склада, где их мужики возили и роняли нечаянно с возов, а потом не подымали, чтоб легче было лошадям, — дрова чужие, а лошади свои.

Отец Семена работал кузнецом в кузнице около шоссеной дороги, которая шла до Москвы на тысячу верст и еще дальше. Отец дома только спал, а утром он просыпался раньше всех, брал краюшку хлеба и уходил. По вечерам же, зимой и летом, он приходил уже в темноте, редко заставляя самого старшего сына Семена, когда тот еще не спал. Перед тем как лечь спать, отец обыкновенно лазал по полу на коленях между спящими детьми, укрывал их лучше гунями, гладил каждого по голове и не мог выразить, что он их любит, что ему жалко их, он как бы просил у них прощения за бедную жизнь; потом отец ложился около матери, которая спала в один ряд с детьми тоже на полу, клал свои холодные, занемевшие ноги на ее теплые и засыпал.

Утром, проснувшись, дети начинали плакать — они хотели есть, пить, и, кроме того, им было страшно и непривычно жить, в их теле что-нибудь постоянно болело, потому что там не произошло еще окостенения. Один Семен не плакал, он молча терпел свою нужду в пище и сначала заботился о братьях, а потом уж доедал с матерью, что оставалось от меньших детей,

или то, что случайно испортилось и протухло, чтобы зря не выкидывать еду. Мать уже давно жила, она не могла сильно мучиться, когда хотела есть, но Семен тосковал до самого обеда. Катая братьев в тележке, он шел печальный, потому что в нем болело сердце от голода, он плакал и тихо скулил, чтобы забыться. Братья глядели на него из тележки и тоже начинали кричать от страха, раз их старший брат боится чего-то. Тогда Семен находил в выброшенной печной золе кусочки древесного угля или отламывал известку от стены флигеля и давал братьям; они принимались сосать и глотать уголь и от жадности переставали кричать. Семен же закатывал тележку с братьями за сарай, где между курником, плетнем и стеной сарая рос лопух, лежали жестянки и житейский мусор, а сам уходил на улицу. Там он ходил мимо чужих домов, ища глазами, что валяется на земле. Больше всего он любил находить огрызки яблок и морковь. Когда он находил их и ел, у него слабело сердце от радости, он сразу смеялся и бежал поскорее обратно к братьям, которые могли без него уползти из тележки неизвестно куда и навеки пропасть. Семен на бегу поднимал подол рубашки и смотрел на свой живот; ему казалось, что там живет кто-то отдельный от него, который то мучает его, то ласкает, но лучше б там не было никого совсем, лучше жить одному без горя.

Братья действительно самостоятельно выбирались из тележки, — один из них умел только ползать, а другой уже ходил понемногу. Который ходил, тот не мог далеко уйти — его били все встречные предметы — по лбу, по боку, в живот, и он вскоре сваливался от боли и плакал. Опасен был меньший брат, Петька, который ползал; он был еще весь мягкий, пухлый от младенчества, он полз медленно, и встречные предметы трогали его мало, поэтому он мог тихим ходом уползти в щели под плетнями и скрыться в траве и кустарнике на чужих дальних дворах или заснуть в собачьей будке.

Собрав братьев обратно в тележку, Семен опять их катал по земле, рассказывая им, какие на свете бывают дожди и молнии, какие башни стоят в городе, где живут богатые, — он уже много прожил и все видел; у него есть дом из железа на краю леса, он ходит туда ночью, чтобы жить там одному по-страшному, потому что он работает царем у волков. Братья слушали его со страхом и верой; младший, Петька, понимал мало, но все равно боялся. Сам Семен тоже слушал свои рассказы с интересом, и хотя у него не было по правде железного дома и он не служил по ночам царем у волков, но он был счастлив от своего воображения на самом деле. Открыв рты, забывая моргать глазами, братья глядели на Семена, как на высшего, ужасного человека; у них не было ничего, что нужно рассказывать, они и говорить умели лишь немного слов, поэтому, слушая, дети не помнили самих себя.

Но Семену вдруг становилось жалко двух своих братьев; в них не хватало даже ума, чтобы воображать себя хорошими, и они еще не успели научиться любить одну свою жизнь. Дети смотрели на старшего брата доверчиво и победно, их глаза не выражали сладкой радости и выдуманной мысли или гордости, — для них было неважно, где происходит счастье — внутри их или снаружи, в другом человеке, лишь бы это было и они могли знать, чтобы не сомневаться.

— Я царем не работаю, я нарочно, — грустно говорил Семен. — Я бы тогда деньги или говядину домой приносил, а то у нас нужда в доме, всего мало...

— А ты воруй говядину и матери давай, — советовал второй после Семена, пятилетний Захар. — У мамы голова болит от горя, она мне говорила, — вспоминал Захар; он уже умел собирать щепки для растопки самовара и следил во время обеда, чтобы мать не обделила его куском — отцу надо побольше, чем ему, Семену чуть-чуть только побольше, а Петьке меньше всех, он еще не вырос и может объесться.

Однажды мать до обеда закричала Семену в окно, чтобы он шел скорее домой. У нее начались родовые муки, и она велела Семену сходить к Капишке — бабке-повитухе, чтоб она пришла. Семен враз привел старуху за руку, он ее знал и раньше. У Капишки был один только верхний зуб, этим зубом она прихватывала нижнюю губу, а то губа свешивалась вниз, и тогда открывалась темная пропасть пустого рта. На ночь, на сон грядущий, Капишка подвязывала нижнюю челюсть тесемкой к темени, иначе рот ее разваливался во сне и туда набивались мухи,

ища себе теплое место. Лицо Капишки давно уже стало походить на мужика, оно позеленело от старости и, должно быть, от злобы, а на верхней губе ее росли седые усики. Старуха была такая худая, что Семен слышал, когда вел ее за руку домой, как в ней что-то шуршало и поскрипывало, наверно, ее жилы терлись о кости.

Капишка взяла от матери и отдала Семену самую маленькую, ручную сестру-девчонку и велела ему долго не приходить домой. Семен посадил сестру в тележку меж двух братьев и сказал им, что мать опять рождает, теперь им еще хуже будет жить. Он увез детей за курник, где было тихое место, и там они все задремали, потому что прошел уже полдень, была пора обедать, а мать заболела.

Семен покачал детей в тележке, чтоб они крепче заснули, а сам ушел домой и спрятался в сенях, во тьме. Он хотел услышать, как рождаются люди, отчего они живут, и дрожал от горя и страха. Мать в комнате то кричала, то стонала, то шептала чего-то. Капишка гремела посудой, раздирала материю в тряпки и хозяйствовала там, как на домашней ежедневной работе.

— А ты не плачь, не горюй, моя дочка! — сказала Капишка матери Семена. — Дай я к тебе рядом лягу, может — тебе полегчает!..

Капишка покряхтела немного, а потом в комнате стало тихо. Наверно, старуха легла рядом с матерью на перину, постеленную на пол. Слышно лишь было, как мать часто и трудно дышала, словно спеша переработать свое мученье.

— Тебе — трудно, а как же ему-то? — говорила Капишка.

— Кому, бабушка? — быстро, стараясь не заплакать от боли, спросила мать.

— А тому, кто рождается! — сказала Капишка. — В него ведь душа входит сейчас, в самую тесноту, в середину тельца, лезет к нему, все жилы жмет и натягивает... А ты что ж, отрожаешь, ухмыльнешься да опять почнешь, — чем тебе заниматься-то?

— Я больше не буду рожать, — томясь, сказала мать.

— Ньюжли ж не будешь? — произнесла старуха. — Аль так я тебе и поверила!.. И-их, дочка, рожать не будешь, замутнешь, погниешь, завокнешь вся — не вспомнишь, что жизнь прожила, злобой подернешься... Лучше уж мучаться, да знать, что живая живешь!

Мать опять застонала.

— Иль опять трудно? — сказала Капишка. — Ну, дуйся, дуйся, надувайся прилежней! Давай вместе, я тоже буду рожать! — Старуха начала кряхтеть и надуваться; она старалась в этом больше матери, ради того, чтоб утешить роженицу и хотя бы одной видимостью положить часть ее мук на себя.

Семен продрог от ожидания и грусти; из комнаты пахло чем-то кислым и словно желтым, мальчик сидел и боялся. Вдали, на дворе, за курником, сразу с чего-то закатилась криком младшая сестра Ньюшка, — может быть, она упала из тележки вниз головой. Но крик сестры вдруг прекратился, как будто его и не было и он лишь почудился. Семен побежал туда, к детям, на проверку. На дне тележки спал один меньший Петька, а Захарка и Ньюшка уже вылезли оттуда куда-то: это, наверно, Захар вытащил сестру, сама она не сумела бы оставить тележку. Семен огляделся и услышал, что Захарка говорит кому-то: «У, гадина такая, ты зачем рожалась!» Семен вошел в курник. Там в сумраке, под пустыми куриными насестами, Захарка сидел верхом на животе маленькой сестры и душил ее горло руками. Она лежала навзничь под ним и старалась дышать, помогая себе голыми ножками, которыми она скреблась по нечистой земле курника. Заплаканные глаза ее молча и уже почти равнодушно глядели в лицо Захарке, а пухлыми руками она упиралась в душасие ее руки брата. Семен дал сзади кулаком Захарке в правое скуло. Захарка свалился с сестры и ударился левым виском о плетневую горбушку в стене курника; он даже не заплакал, а сразу забылся от сильной боли в голове. Семен ударил его еще несколько раз по чем попало, но вскоре опомнился, перестал бить и сам заплакал. Сестра уже повеселела, она подползла к нему на четвереньках и ждала, пока старший брат обратит на нее внимание. Семен взял ее к себе на руки и, послынявив одну свою ладонь, вытер ей заплаканные

глаза, а потом отнес ее в тележку, побаюкал там, и сестра покорно, испуганно заснула рядом с меньшим братом.

Захарка самостоятельно вышел из курника; на левой щеке его засохла кровь, но он больше не обижался. «Ладно, — сказал он Семену, — я тебе, вырасту, все вспомню!» — и лег спать на землю около тележки, зная, что мать опять рожает и обед не готовила. Семен тоже лег в тени тележки и заснул, пока вечернее солнце не засветило ему в лицо.

Но есть время в жизни, когда невозможно избежать своего счастья. Это счастье происходит не от добра и не от других людей, а от силы растущего сердца, из глубины тела, согревающегося своим теплом и своим смыслом. Там, в человеке, иногда зарождается что-то самостоятельно, независимо от бедствия его судьбы и против страдания, — это бессознательное настроение радости; но оно бывает обычно слабым и скоро угасает, когда человек опомнится и займется своей близкой нуждой. Семен часто просыпался нечаянно счастливым, потом одумывался и забывал, что ему жить хорошо.

Вечером пришел из кузницы отец и стал варить кулеш в чугунном горшке. Мать уже родила девочку и спала от потери сил. Капишка дождалась кулешу, поела со всем семейством и стала говорить отцу, чтоб он ей дал денег, а то ей хочется жить дальше, но не на что. Отец дал ей сорок копеек, Капишка завязала их в уголок платка и пошла к себе на ночлег.

На другой день отец спозаранку ушел на работу, а мать не могла подняться. Поэтому Семен повел один целое хозяйство. Сначала он привез на тележке два ведра воды из бассейна, затем стал умывать, обрывать и кормить детей. Кроме того, надо было убрать комнату, сварить для матери жидкую кашу, купить хлеба и молока, глядеть за двумя братьями, чтобы они не скрылись куда-нибудь, не провалились в нужник и не сделали пожара.

Мать молча, слабыми глазами следила за Семеном, как он заботился и работал. Новорожденная девочка лежала при ней и уже сосала, кормилась из ее груди.

В полдень Семен напичкал всех детей хлебом с молоком, а мать кашей, и дети легли спать. Семен стал уже думать, чем кормить семейство вечером, потому что за обед все поели, а запасов и остатков не было. Вымыв посуду, Семен пошел к домохозяину, чтобы попросить взаймы хлеба и пшена.

— Да ведь вы не отдадите небось! — сказал домохозяин; у него было десятин сорок земли, и он сдавал ее в аренду крестьянам, а сам ничего не делал, лежал на диване или на лежанке и читал крестовый календарь Гатцука. Семену давно хотелось попросить у домохозяина крестовый календарь и посмотреть в нем картинки, но он боялся.

— Мы отдадим, — сказал Семен. — Отец вот получку получит, а я принесу...

Домохозяин дал Семену хлеба фунта два и пшена в подол рубашки.

— Гляди, чтоб ваша саранча на дворе не гадила! — сказал хозяин. — Захарка сегодня в трех местах напичкал, ты убери пойдешь...

— Сейчас уберу пойдешь, — пообещал Семен. — Они ведь маленькие еще, не понимают.

— А вот я, как увижу, дам ему чертоплешину по башке, он сразу поймет! — сказал хозяин.

— Бить их лучше не надо, — попросил Семен, — а то я ваш дом ночью подожгу!

— Ишь ты, сволочь какая!.. — заговорил домохозяин, но Семен уже скрылся с хлебом и пшеном.

Летний детский день жизни шел долго и трудно, пока не напичкались все птицы, воробьи и куры; когда они уже умолкли и стали дремать от пищи и усталости, тогда на небе появился сумрак и слышно стало, как вдалеке по шоссе дорожке уезжают телеги в деревню и стучат кузнецы в придорожных кузницах.

Мать и все дети в семействе Семена еще спали; он один сидел на сундуке и ожидал, когда проснется кто-нибудь, — он не привык жить один на свободе, в нем собиралась печаль, и сердце опять хотело заботы. Но глаза Семена начали слипаться, он прилег головой на сундук и, стараясь кое-что помнить, все позабыл и уснул.

Однако все матери спят мало, и мать Семена тоже вскоре открыла глаза.

— Семен! — сказала она. — Затопи печку, поставь чугунок с водой, искупай ребятишек!..

Семен сразу вскочил со своего места на сундуке. Но мальчик еще не отдохнул, не согрелся во сне и теперь дрожал от слабости.

— Мне плохо, — говорила мать, — сходи за отцом, пусть он пораньше придет.

— Сейчас, — сказал Семен. — Мама, не рожай больше детей, я уморился.

— Я больше не буду, — ответила мать; она лежала навзничь на перине и еле дышала, истощенная рождением ребенка.

Новая дочка лежала около матери в глубоком сне и не понимала, что она уже живая. Семен с удивлением глядел на свою самую маленькую сестру: только что родилась, ничего еще не видела, а спит все время и просыпаться не хочет, как будто жизнь для нее была неинтересна.

— Семен, попробуй меня, какая я холодная, — произнесла мать. — Если я умру, ты выходи детей за меня, отцу ведь некогда, он хлеб нам добывает...

Семен прилег к матери и попробовал ее лоб — он был холодный и мокрый, а нос ее стал худой и глаза побелели.

— Все внутренности отвалились во мне, я как пустая лежу, — сказала мать. — Ты самый старший, ты береги своих братьев и сестер, — может, хоть они людьми вырастут...

Мать подержала голову Семена в своих руках и велела ему:

— Иди за отцом.

Семен сходил за отцом, но тот не смог сразу прийти, ему еще осталось ошиновать три колеса, и хозяин ждет работу. «Дотерпит, не помрет, — сказал хозяин кузницы про Семенову мать, — жены, они каждый месяц у нас помирать собираются!» Семен, вернувшись, развел на загнетке огонь над таганом и начал варить пшеничный кулеш на ужин. Ребятишки уже проснулись, — Захарка встал около загнетки и подкладывал щепки в огонь, чтобы кулеш скорее и вкусней варился, а Петька подполз к матери и долго смотрел в ее лицо и водил по нему руками, точно проверяя, что мать еще цела, она только больная и плачет.

Отец вернулся из кузницы, как обычно, в темноте. Он поел, что оставил ему Семен от детей, и лег спать рядом с матерью. Семен еще не спал, он видел, как отец осторожно обнял мать и поцеловал ее в щеку; мать повернулась к отцу лицом, сжалась, как маленькая, тесно собирая свое коченеющее, опустевшее тело. Полежав немного, отец встал и пошел в чулан. Он принес оттуда старую большую дерюжку и покрыл ею все время стынущую мать. Новую девочку он переложил от матери к себе, потому что мать уже не могла бы ею заниматься, если она заплачет ночью. Семен всю ночь хотел не спать, боясь, что мать умрет или отец нечаянно задавит во сне младшую девочку, но глаза его сами закрылись и он открыл их лишь утром, когда на него залез Захарка и ткнул ему пальцем в ухо.

Отец ходил по комнате, качая на руках плачущую новорожденную дочь. Мать по-прежнему лежала на полу на перине, покрытая одеялом, а сверху большой дерюгой. Она спряталась там с головой и не вставала.

Семен подошел к матери — посмотреть ее и спросить, что ему нужно делать с утра, чего стряпать ребятишкам и где занять денег до получки отца.

— Не надо ее открывать, — сказал отец Семену, — она под утро умерла. Ступай, сходи за Капишкой.

— Зачем за Капишкой? — спросил Семен.

— Пускай она у нас теперь живет, — говорил отец. — Будет хоть за детьми смотреть и обед готовить. Она старая женщина.

— На что нам Капишка! — произнес Семен.

— Старая жаба такая! — сказал Захарка. — Она жрать много будет, а нам самим мало!

Семен взял к себе новую сестру из рук отца. Петька и младшая сестра (теперь уже

старшая) сидели на полу; они молча играли друг с другом в разный сор и лоскутки материи, делая из них себе вещи и богатство.

— А как же нам теперь жить! — сказал Семен и жалостно сморщил лицо; горе его медленной горячей волной подымалось от сердца к горлу, но еще не дошло до слез. — Чем же нам теперь грудную кормить, она ведь тоже умрет...

— Она еще маленькая, — говорил отец, — она не жила еще, не привыкла, не знает ничего. Придется ее с матерью вместе похоронить.

Семен укачал на своих руках плачущую новую девочку, она уснула и умолкла. Он положил ее временно на перину, к ногам матери.

— Папа, сколько стоит коза? — спросил Семен.

— Да, наверно, недорого, я не знаю, — ответил отец.

— Купи ее нам в получку, — попросил Семен. — Захарка будет в поле пасти ее ходить, а вечером я подою из нее молоко, вскипячу его, и мы сами, без матери, выкормим девочку. Я ей из соска буду давать, — купим сосок и на пузырек его наденем... Только скажи сам Захарке, чтоб он из козы в поле ничего не сосал, а то он любит выгадывать!

— Я не буду ничего сосать из козы твоей, — пообещал Захарка. — В ней молоко несладкое, мне давно мама давала.

Отец молчал. Он глядел на всех своих детей, на умершую жену, которая грелась около него всю ночь, но все равно не могла согреться и теперь окоченела, — и кузнец не знал, что ему подумать, чтобы стало легче на душе.

— Им мать нужна, а не коза, — произнес отец. — Ведь ты только, Семен, один старший, а они еще маленькие все...

Семен был сейчас в одной рубашке, потому что не успел надеть штанов с тех пор, как проснулся. Он поглядел вверх, на отца, и сказал ему:

— Давай я им буду матерью, больше некому.

Отец ничего не сказал своему старшему сыну. Тогда Семен взял с табуретки материно платье, капот, и надел его на себя через голову. Платье оказалось длинным, но Семен оправил его на себе и сказал:

— Ничего, я его подрежу и подошью.

Умершая мать была худая, поэтому платье на Семена пришлось бы впору, если б оно не было длинным. Отец смотрел на старшего сына, — «восьмой год уж ему», подумал он.

Теперь, одетый в платье, с детским грустным лицом, Семен походил столько же на мальчика, сколько и на девочку, — одинаково. Если б он немного подрос, то его можно принять даже за девушку, а девушка — это все равно что женщина; это — почти мать.

— Захарка, ступай на двор, покатай в тележке Петьку с Нюшкой, чтоб они есть не просили, — сказал Семен в материнском капоте. — Я вас тогда позову. У нас дела много с отцом.

— Тебя ребята на улице девчонкой дразнить будут! — засмеялся Захар. — Ты дурочка теперь, а не мальчик!

Семен взял веник и стал мести пол вокруг перины, где лежала мать.

— Пускай дразнят, — ответил Семен Захарке, — им надоест дразнить, а я девочкой все равно привыкну быть... Ступай, не мешайся тут, бери детей в тележку, а то вот веником получишь!

Захарка позвал с собой Петьку, и он пополз за ним на двор, а Нюшку Захарка взял к себе на руки, еле справляясь с тяжестью сестры.

Отец стоял в стороне и понемногу, бесшумно плакал. Семен, прибрав комнату, подошел к отцу:

— Папа, давай сначала мать откроем, ее надо обмывать... А потом ты плакать будешь, и я буду, я тоже хочу — мы вместе!

ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ

Лейтенанта германского военно-воздушного флота Эриха Зуммера днем вызвали в штаб части и предложили подготовиться к дальнему ночному перелету на боевой машине; задание — строго секретное, маршрут перелета и пункт его окончания Зуммер получит у командира своего отряда перед стартом.

Зуммер вышел из штаба на улицу южнобаварской деревни. Он улыбнулся, вспомнив сугубо серьезное, глубоко задумчивое выражение лица начальника штаба части, точно ему действительно было над чем задумываться, точно он не был всего лишь техническим исполнителем чужой воли, простым канцеляристом для чтения получаемых бумаг.

Зуммер улыбался так же, как и грустил, — безмолвно и не меняясь в лице; он привык молчать, и впечатления жизни, естественно вызывающие в человеке смех, печаль или живое искреннее действие, теперь в нем все более превращались во внутренние сдавленные переживания, не заметные ни для кого, безопасные и бесполезные. Ум и сердце молодого летчика по-прежнему были способны воодушевляться людьми, событиями, полетом машин, он мог любить друзей и возлюбленных и ожесточаться в ненависти против врагов и тиранов, но эти свои обычные способности Эрих Зуммер обнаруживал теперь лишь очень скромно либо вовсе не обнаруживал их, — что самое лучшее, потому что открытые чувства и мысли человека становились для него все более смертельно опасными.

Даже любить для Зуммера стало невозможно. Год назад он жил в казарме под Лейпцигом, и ему понравилась Клара Шлегель, девушка, служившая на кухне в военной столовой, и он приблизился к ней, подружился с ее семейством — отцом и матерью — и ходил в ее дом по вечерам, чтобы беседовать и гулять с этой девушкой, считая ее своей невестой и желая приучить ее к себе, чтобы она затем тоже полюбила его. Может быть, для самой любви ничего и не нужно, кроме двух любящих людей, но каждому из них необходимо удостоверить перед другим свою ценность, чтобы укрепиться в его сердце, и для этого привлекаются в свидетели, в доказательство любые прекрасные факты из постороннего мира, самого по себе неинтересного для сосредоточенного чувства любящих.

Видимо, чтобы доказать свой ум и оригинальность, Эрих сказал однажды Кларе о русских, испанцах и китайцах. «Они теперь самые лучшие, самые одухотворенные люди на всей земле», — произнес он. Клара проникательно посмотрела на Эриха и затем ответила ему, что офицеру с такими мыслями неуместно служить в германской армии и она сама позаботится, чтобы Эрих больше не работал в военной авиации.

«И вам будет безопасней, и мне спокойней, — улыбнулась Клара и добавила: — Если я выйду за вас замуж когда-нибудь».

Зуммер понял, что Клара сообщит о нем в тайную полицию, и стал ждать ареста. Он более не посещал свою невесту и не видел ее — не из боязни, а из грустного равнодушия, заполнившего Эриха, хотя жалость и приглушенная, опечаленная нежность к оставленной девушке сохранилась у него. Но подобное, похожее чувство Эрих испытывал ко всем людям, которые ему были близкими или милыми когда-то и которых он утратил из виду; их голоса таились в его сердце и воспоминании и глухо, почти безмолвно шептали ему о себе, точно жалуясь на свое сиротство без него.

Арестован Эрих Зуммер не был — наверно, потому, что в тайной полиции тоже был не порядок и там руки не дошли до него или схватили кого-нибудь другого вместо него: им же все равно, была бы лишь деятельность. В благородство или в остаток человечности Клары Шлегель Эрих верил мало. Ей не от кого было научиться и привыкнуть к этим вещам, — ей, захваченной фашизмом в тринадцать лет от роду, — а он не успел ее ничему научить, потому что только любил ее и считал это достаточным. Любовь же его была не чем другим, как только

заботой о своей пользе и о своей радости, о своем наслаждении прекрасным существом, а не работой для спасения женщины-ребенка, наивной и неопытной и уже теснимой жестокой враждебной силой в грустную долю постоянного робкого напряжения, где жалкий ум ее будет способен только молчать и слушаться, но не думать, и где ее сердце будет биться, чтобы происходило кровообращение в теле, но не сможет превратиться в душу...

Что же он сделал, Эрих Зуммер, ради облегчения будущей участи Клары Шлегель? Он рассердился на свою невесту и оставил ее; ему не понравилось, что она хочет сообщить о его антифашистских убеждениях в тайную полицию; он отказал ей в своей дружбе, обрек ее на одиночество и беспомощность, тогда как можно было бы приблизить к себе ее сердце столь тесно, что оно всю жизнь бы согревалось дыханием Эриха и никакие холодные, гибельные ветры не остудили бы его. Ее никто не взял за руку, чтобы увести с собою в новый будущий мир людей, существующий в Германии уже теперь в скрытых сердцах.

Но сейчас уже поздно заботиться о Кларе Шлегель. Прошел почти год, как Эрих Зуммер ее не видел, и восемь месяцев миновало со времени его отъезда из-под Лейпцига сюда, в Южную Баварию. И сегодня после захода солнца он улетит через Францию в Испанию, чтобы уничтожать своих друзей, чтобы громить народ бедняков, надеющийся, как сказал их земляк Дон-Кихот, на свет в будущем, а сейчас желающий лишь терпимой судьбы на своей земле.

Зуммер возвратился домой. Он снимал комнату в жилище крестьянина. В деревне, кроме Зуммера, жили еще человек двадцать офицеров из авиационных и танковых частей, расположенных поблизости. Крестьяне относились к военным терпеливо, но работали они теперь менее трудолюбиво и тщательно и жили как придется, лишь бы день прожить. Зуммер чувствовал тайное недовольство крестьян появлением военных частей в окрестности деревни. Огромная толпа вооруженных бездельников, занявшая пахотные поля под стоянки машин и постройку казарм, офицеры, поселившиеся жить в родных, отцовских домах земледельцев, гром и гул испытываемых машин в дотоле тихих, рожающих полях — все это угнетало крестьян, и они жили среди родной земли, как на чужбине, точно готовясь вот-вот переселиться отсюда навсегда или умереть.

До вечера нужно было бы выспаться, но Эрих решил не спать, ему не хотелось тратить на сон свое последнее прощальное время на родине. Он сел бриться к настольному зеркалу и увидел свое лицо: большой правильный нос, серые угрюмые глаза, светлые волосы с нехорошим рыжеватым оттенком, а нежная, слегка обветренная кожа усеяна мелкими коричневыми точками — Эрих был конопатый. В детстве поэтому Эриха дразнили «засиженным воробьями» и «дерьмом обрызганным».

«А ведь я похож на арийца, — подумал Зуммер. — Вот еще проклятое дело, надо бы нарочно изувечить себя, чтобы быть непохожим. Да и арийцев ведь нету на самом деле, — просто объявлено, что они есть, а кто скажет нет, того — железом по голове и в тюрьму. По такому способу можно заставить поверить и в гномов, и в кобольдов, и еще в кое-что невидимое, но однако злодейски действующее».

По стенам комнаты, которую снимал Зуммер, были развешаны фотографии и старые дагерротипы предков и родственников хозяина этого крестьянского дома, целые умершие поколения. Они были счастливее нынешних людей. Но почему?

Побрившись, Зуммер быстро сложил свои вещи в маленький, но емкий чемодан, вытер и проверил револьвер, положил его на виду и был уже готов к отъезду на аэродром. Прощающимися глазами он осмотрел комнату, в которой жил и которую едва ли когда посетит еще. Мучимый тоскующей мыслью, Эрих лег на кровать, чтобы отдохнуть, задуматься еще более и принять какое-либо решение, утешающее страдание.

Поколение крестьян, изображенных на фотографиях, смотрело на него со стены у кровати. Почему они были счастливее его?

«Я не понял Клары и оставил ее одну среди врагов. Я пришел в раздражение от одной ее случайной глупости, а где она могла научиться уму и чести?.. Ты и любить по-

настоящему не можешь, — любят ведь только тогда, когда человек прощает любимому все, даже смерть от его руки, а ты не вытерпел, ты обиделся, ты подлец, ты ничего не понял, ты все превратил в свое обиженное настроение и ты сегодня улетаешь в Испанию бить народ тружеников, чтобы от него остались одни сироты и чтобы сирот затем превратить в рабов...»

Пустынный свет безмолвного летнего дня озарил окно. Зуммер подошел к стеклу и увидел полевую, рабочую дорогу, уходящую на дальние пашни, — простую дорогу с колеями от колес, проложенную по мягкости земли. Крестьянин поехал по ней из деревни в отдаление; Эрих ждал, когда он обернется, но крестьянин не обернулся и скоро скрылся из вида. Две ракиты росли у той дороги, на выходе ее из деревни в поле; теплый ветер медленно шевелил их листья, и хлеб задумчиво рос по краям дороги. Это было все близко к людям и родственно им, но столь чуждо, столь уединенно в собственной, глубокой жизни, что лишь общее солнце соединяло судьбу людей и растений. Рожь и деревья живут серьезно и по своей необходимости, и им нет дела до того, что люди употребляют их плоды и их тело на то, чтобы жить за чужой, за их счет. Хлебным зернам нет дела до этого потому, что когда их хотят уничтожить, они уже созрели и почти мертвы, они готовы пасть в землю, чтобы, разродившись, умереть там, и оттого действия людей для них не заметны.

— Но я ведь не мертв еще, — понимал Эрих Зуммер. — Мне двадцать восемь лет. И я хочу жить, потому что я умираю и потому что меня убивают.

Он знал, как обессилел его ум в молчании, в скрытности, в сдержанности, как оробело его сердце в скромности и страхе, неспособное утешить даже одного человека, например — Клару Шлегель, как одновременно с непосредственным чувством и ясной, истинной мыслью у него возникает торможение, подавление этого чувства и мысли, то покорное дрожание смирившейся согбенной жизни, которая даже свои бедствия ощущает как благо, как свою единственно возможную судьбу, и жизнь проходит в суете, но без действий, в заботе, но в бессмысленности, в ожидании окончательного смертельного удара — и в беззащитности.

Так что же это? Отчего в меня, в некоего Эриха Зуммера, весь мир посылает свои сигналы и природа сеет свои семена, а из меня ничего не происходит, не возрастает обратно в ответ, в отплату и в благодарность, точно я та нерожающая, мертвая земля, в которой посеянные семена, не оживая в зачатъе, лишь распадаются в прах и отравляют почву ядом погибшей, неистраченной силы, чтобы земля стала еще более бесплодной, чтобы она окаменела. Но трудно понять и правильно направить свою жизнь тому, кто не умирал ни разу и не был близок к смерти.

— Ничего, я и живу как умираю, поэтому я немного начинаю понимать, как мне следует теперь жить, — размышлял Эрих.

Он вспомнил сугубо секретный приказ о ночном дальнем перелете и улыбнулся глупости этих секретов. О том, что военные самолеты посылаются отсюда в Испанию, знали все окрестные пастухи, их помощники и весь германский народ. Очевидное всегда делается по секрету, а явно сообщаются лишь никому не нужные, не интересные пустяки.

Эрих снова лег на кровать и забылся до вечера.

Вечером за ним прислали из штаба автомобиль, и он поехал на аэродром. До аэродрома было всего километров десять, по гудрону новой снивелированной трассы. Эрих ехал и удивлялся: где росло раньше дерево, оно было теперь срублено, где ничего раньше не росло, теперь кое-что появилось: не то трава, не то темная каменная одежда, хранящая землю от размывания. И он ехал по знакомым местам, но поражался, как чужестранец: ему было понятно, почему здесь срублено дерево, а там положен дерн для укрепления откосов, но он хотел бы здесь, в деревенских полях, видеть еще старь, смирный мир — ночные пашни, древние деревья у заросших канав, свет в окне деревенского жилища, где крестьянская семья сидит за столом и ужинает из общей чашки, — тот старь мир, возвращение в который означало бы по сравнению с фашизмом освобождение.

Зуммер велел остановить машину и вышел пеший на край дороги. Было уже темно, и огни нигде не светились из экономии керосина и электричества, лишь тревожный и вопящий голос пел где-то в отдалении, постоянный и волнообразный, похожий, что он поет из каменных недр природы, и поет оттуда вечно, так что, по привычке, его можно не слышать и жить, как в тишине. Это скулили на ближайшем опытном авиационном заводе испытываемые моторы и им подвывала аэродинамическая труба — там готовили новые конструкции истребителей и бомбардировщиков. Надо всем миром поют сейчас эти трубы и воют новые моторы на испытательных стендах. Скоро и бомбы на землю будут падать столь часто и постоянно, что люди привыкнут к ним, перестанут их слышать, и жизнь им снова покажется тихой, а смерть от осколка бомбы обычной и естественной.

Зуммер приказал шоферу ехать дальше. Километрах в двух от деревни, вправо от дороги, был расположен концентрационный лагерь — четыре длинных барака, лишь на метр возвышавшиеся над землей; стены бараков были сложены из речного мягкого камня, и ради экономии строительных материалов их всего клали в метр высоты, а остальным своим жилым объемом бараки уходили в грунт, так что они были, в сущности, большими землянками. Из сбережения железа никакой колючей проволоки вокруг концлагеря не имелось, и охрана лагеря состояла — про это слышал Эрих раньше — из старых прусских стражников и штурмовиков.

Заключенные в этом лагере работали на тяжелых земляных работах; они строили земляные насыпи для новых автомобильных дорог и планировали посадочные площадки для аэропланов. Эрих много раз видел, как работали арестованные: они рыли лопатами землю, и движения их походило на движения людей, живущих в сновидении. Глаза одних, побледневшие и выцветшие от постоянной тоски, испуганно и робко смотрели на постороннего, свободного человека, у других в глазах светилась жизненная ненависть к свободным, как своим врагам, — почти счастливое чувство.

Однако не за участие ли в улучшении жизни людей безвестные товарищи Эриха Зуммера томятся в этом тюремном лагере? Именно так, но тогда, следовательно, и само заточение людей, врагов фашизма, есть доказательство существования свободы в сердце и в мысли человека, и невольник представляет собою безмолвное обещание общего освобождения. Поэтому нынешняя неволя германского народа, может быть, есть лишь подготовка его близкой, будущей свободы.

— И мне бы надо быть в тюрьме, — желал Зуммер. — А я офицер фашистской армии.

На аэродроме стоял готовый к вылету отряд двухместных истребителей из пяти машин.

Отпив кофе со сливками, летчики и штурманы переоделись в летную одежду, снарядились и выстроились фронтом для получения инструкций от командования. Выслушав инструкцию, летчики пошли к машинам. Инструкция была проста и заранее всем известна: лететь через Францию в Испанию, держась приблизительно высоты потолка, садиться в Испании по указанию флагманской машины, в случае же если какая-либо машина по непреодолимой причине вынуждена будет отделиться от группы машин, летчику следует достигнуть зоны генерала Франко самостоятельно, пользуясь расчетами своего штурмана.

На машину Зуммера штурманом был назначен Фридрих Кениг. Он должен не только сопровождать машину до Испании, но и остаться в экипаже вместе с Зуммером в качестве боевого штурмана, на все время войны. Зуммер знал Кенига около года: он летал с ним в тренировочных полетах и участвовал на маневрах. Как штурман Кениг был обыкновенный работник, даже плохой, — однажды при дневном, безоблачном небе на высоте полутора тысяч метров он перепутал ориентиры и дал Зуммеру ошибочный курс. Но зато в чистых, младенческих, больших глазах Кенига постоянно горел энергичный свет искренней убежденности в истине фашизма, свет веры, а также пронизательности и подозрительности, и он жил в беспричинной, но четко ощущаемой им яростной радости своего существования, непрерывно готовый к бою и восторгу.

Зуммер, наблюдая Кенига, чувствовал иногда содрогание — не оттого, что штурман верил в фашизм (вера в заблуждение постепенно обессиливает и умерщвляет верующего человека, так что пусть он верует), но оттого, что идиотизм его веры, чувственная, счастливая преданность рабству были в нем словно прирожденными или естественными, — Зуммер тогда содрогался.

Он думал со страхом и грустью, что во многих других людях существует такой же инстинктивный, радостный идиотизм, как у Фридриха Кенига. Зуммер вспомнил, что при прощании с генералом специального авиационного соединения, напутствовавшего летчиков, у Кенига стояли слезы в глазах, слезы радостной преданности и полной готовности обязательно умереть за этого генерала и за кого попало из начальства, которые все вместе составляли для штурмана отчизну.

— И ты умрешь за отчизну, — сказал про себя Эрих Зуммер, усевшись на свое место пилота, — но умрешь не за ту отчизну, которую ты себе выдумал, а за мою, за всемирную отчизну, за всю разноцветную и голубую землю, которую ты хочешь покрыть коричневой глиной могил.

Машины одна за другой пошли в воздух и после короткого построения легли на курс вслед за флагманом. С привычным, но никогда не надоедающим наслаждением чувствовал Зуммер точную напряженную работу мотора. Эрих, прежде, после окончания Мюнхенского политехникума, был механиком и затем конструктором в опытных авиамастерских. Он первый построил взрывобезопасные бензиновые баки для военных аэропланов. Эти баки состояли из системы трубок, заполняемых бензином, и походили на водяной автомобильный радиатор; каждая трубка имела два специальных автоматических клапана, которые в момент порчи трубки перекрывали ее и этим отделяли трубку от всей системы. Такой способ был необходим на случай, если в бак попадает пуля противника, тогда 909-й бензин вытечет лишь из одной трубки, и даже если топливо загорится, то едва ли по малому своему количеству подожжет всю машину. Кроме того, свой бензиновый бак Зуммер предлагал помещать в машине таким образом, чтобы система трубок продувалась потоком воздуха, — этим достигалось столь сильное охлаждение горючего, что поджечь его любой пулей или даже непосредственно пламенем было очень затруднительно. И еще Зуммер предложил сделать несколько улучшений в моторной части аэроплана, не думая о пользе работы, но находя в ней утешение от своей тоски, точно занимаясь игрой, чтобы отвлечься от настоящей действительности.

Но спустя время это занятие творческой техникой ему надоело — нужно было или переменить одну игру на другую (например, начать улучшение автомобилей или радиоприемников), если хочешь чем бы то ни было утомить и растратить свою жизнь, либо, наоборот, начать жизнь всерьез и без всякой игры. И Зуммер больше не стал заниматься улучшением аэропланов, потому что ни хорошие, ни плохие моторы сами по себе не помогают правильно существовать человеку, если в человеке нет священной сущности или эта сущность убита или искалечена. Может быть, эта сущность — наша душа, и неизвестно в точности, что такое, но известно, что без нее общая жизнь человечества не состоится, и это подтверждается тем, что мы страдаем...

Машина шла высоко над Францией. Фридрих Кениг сидел позади Зуммера, касаясь ручки дублированного управления. Тихий, скромный свет горел над доской приборов против Зуммера, и циферблаты приборов глядели оттуда на летчика с разным выражением своих лиц: одни нахмурились, другие улыбаясь, третьи важно шевеля усами стрелок, будто они нарядились в стариков. Эрих улыбнулся на свои циферблаты; они показались ему детскими рожицами, потомством, которое он нарожал от верной, любимой жены.

Летчик поглядел вверх на небо Франции — какое оно было здесь, над чужой, но милой и еще свободной страной. Вечные звезды сияли на небе, подобно недостижимому утешению. Но если это утешение для нас недоступно, тем более, следовательно, земля под небом должна быть для человека прекрасной и согретой нашим дыханием, потому что люди на ней обречены жить безвыходно.

— Я его убью, — решил Зуммер участь Кенига. — Он и они хотят нас искалечить, унижить до своего счастливого идиотизма, чтобы мы больше не понимали звезд и не чувствовали друг друга, а это все равно что нас убить. Это — хуже: это ребенок с выколотыми глазами. А мы хотим подняться над самими собой, мы хотим приобрести то, чего не имеет сейчас и самый лучший человек на земле, потому что это для нас самое необходимое. Но чтобы приобрести это необходимое, следует перестать быть привычным к самому себе, постоянным, неподвижным, смирившимся человеком... Кениг вон ни в чем не чувствует нужды, и он летит сейчас со мной на завоевание мира, чтобы навсегда лишиться земли и свободы тех, кто в них нуждается. Сам же он не нуждается ни в свободе, ни в душе, это ему не нужно, и поэтому он хочет уничтожить то, что ему не нужно. Ему вполне достаточно тюрьмы и могилы, но он оставил туда свободную дорогу только для нас. Он доволен, он уверен, что добыл для себя мировую истину, и теперь питается ею себе на пользу. А я бедняк, я печальный человек, я полон нужды и тоски по свободным людям. В этом наша разница с ним, и поэтому я убью Фридриха Кенига... Мне почему-то кажется, что я прав, а Кениг неверно думает, что он прав, но я уже не могу сдержать свою жизнь и убью его. Пусть наша общая мысль и горе восстанут на их веру и одержимость.

Время ушло за полночь. Флагман вел сейчас группу машин с обычной крейсерской скоростью и на небольшой сравнительно высоте: он не желал изнашивать моторы форсировкой, экономил горючее и не опасался французов.

Французская земля лежала во тьме под машинами. Там, в деревнях и городах, в хижинах среди пшеницы и виноградников, спал сейчас уставший за день народ.

Зуммер долго вглядывался в далекую землю, стараясь различить на ней какой-нибудь свет, доказывающий существование человека. Наблюдению, должно быть, мешала ночная пелена тумана, поднявшаяся с возделанных полей, надышанная влажными устами культурных растений. Но вот Зуммер заметил слабо светящееся пятно, еле движущееся по земле поперек курса самолета. Что это может быть? Зуммер догадался: это прожектор французского курьерского паровоза, идущего либо на Ниццу, либо к Пиренеям.

На доске приборов вспыхнула маленькая красная лампочка с надписью «штурман». Зуммер склонился немного вправо, где висел микрофон, соединяющий его со штурманом.

— Мы подходим к испанской границе, — сказал ему Фридрих Кениг. — Под нами впереди, на пересечении нашего курса, идет французский ночной экспресс к Средиземному морю. Если бы у нас были бомбы, мы бы могли сейчас немного снизиться, — смеясь, шутил Кениг, — и испытать французский паровоз на запас его прочности и на пробой...

— Я военный летчик, а не авантюрист, — ответил Кенигу Зуммер.

— А никто бы не узнал, — говорил Кениг в микрофон. — У французских поездов хорошие скорости, нужно только сбить паровоз, а состав потом сам сокрушит себя. И никто бы не узнал, нельзя было бы доказать, чей бомбил самолет — решили бы, что красный испанский или итальянский... а потом похоронили бы пассажиров и забыли...

Зуммер помолчал и ответил:

Красные испанцы воюют только со своими врагами и на своей земле... А итальянцы, они — наши союзники, но я передам нашему командованию, что вы их считаете способными на бандитизм, а меня подговаривали напасть на французский экспресс...

Кениг умолк. Зуммер улыбнулся и сказал в микрофон:

— Слушайте, Кениг... А ведь мы, если на бреющем полете ударить изо всех наших трубок, мы можем перебить паровозную бригаду, повредить паровоз, и дальше поезд пойдет вслепую на свою смерть...

— Конечно, можно, — ободрился Кениг, — хорошо бы попробовать. «Вот человек, — подумал Зуммер. — Нет, мне пора быть ангелом, человеком надоело, ничего не выходит».

Впереди от Зуммера, непоколебимо сохраняя дистанцию, шли четыре машины отряда, и гул мотора Зуммера сливался с ревом моторов всей группы машин, и это ровное, нерушимое

тение походило на безмолвие, отчего летчика клонило в сон и спокойствие. Лишь патрубки моторов, извергая напряженное, рвущееся пламя, освещали на мгновение блестящие туловища мчащихся тяжелых птиц.

«Скоро Испания, — вспомнил Эрих Зуммер. — Мне пора». Он быстро вынул револьвер из кобуры, и, полуобернувшись назад к штурману, почти не видя его, всадил в чужое тело пять пуль одной струею. Фридрих Кениг поник и привалился вправо к борту мертвой головой.

Флагманская машина стала набирать высоту. Пиренеи были покрыты мощным туманом; сверху, под звездами, туман казался черным: он собрался сюда на ночь из долин Франции и Каталонии, с теплых вод Средиземного моря и Атлантики.

Зуммер не последовал за флагманом; он шел на прежней высоте и сбавил обороты мотора, чтобы отстать. Выждав немного, Зуммер дал мотору максимальные обороты, затем нацелился своей машиной на удаляющуюся группу фашистских самолетов и помчался им вослед, быстро нагоняя их.

Подошедши к группе самолетов снизу на близкую дистанцию и По-прежнему форсируя мотор, Зуммер, находясь уже под флагманом, резко задрал машину вверх и одновременно взял гашетку пулеметов. Из передней кромки плоскостей засветилось пульсирующее пламя пулеметных трубок, машина словно украсилась в огни иллюминации. Пули секущим потоком ударили по головному самолету флагмана — от винта до хвоста, — потому что Зуммер не отдавал руля высоты, пока его машина, поворачиваясь вокруг своей поперечной оси, не легла навзничь. В течение, по крайней мере, половины фигуры, сделанной Зуммером, его пулеметы вели снизу вспарывающую борозду вдоль всего туловища флагманского самолета, а также громили его плоскости и рулевое устройство. Перевернувшись вниз головой, Зуммер выключил пулеметы и ушел по горизонтали в обратную сторону от прежнего курса.

Удалившись, Зуммер сделал вираж, выправил машину и снова пошел вслед своему отряду. Эрих заметил, что машина флагмана на мгновение приостановилась в воздухе, свободно вывесилась в нем и затем вертикально, набирая ускорение, пошла вниз на камни Пиренеев, темная и умолкшая насмерть. Остальные три машины в воздухе обтекли своего флагмана и продолжали свой путь на сбавленной скорости, точно в размышлении, медленно выстраиваясь одна за другой. Зуммер погнался за ними, решив взять их пулеметами, с хвоста. Но штурман задней машины начал бить по Зуммеру со своего места из турельного пулемета. И вдруг он перестал стрелять, потеряв уверенность, очевидно, что он делает правильно, расстреливая немецкую машину и наблюдая, как напрямую, открыто, не защищаясь, его догоняет своя машина. «И Зуммер ли сбил машину флагмана? Может быть, это ошибка, и флагман сокрушен испанской машиной?» — предполагал хвостовой штурман, бездействуя и следя за Зуммером.

Приблизившись и взяв немного высоты, Эрих Зуммер слегка опустил нос машины, а потом вновь тронул гашетку и начал рассекать изо всех трубок своих пулеметов задний самолет отряда. Винт на фашистской машине с разгона стал вмертвую, и, колебнувшись в неустойчивости, машина беспомощно завалилась к земле рыть себе могилу. Но передняя машина группы, занявшая место флагмана, перешла с крейсерской на максимальную скорость и глубоким виражом заходила навстречу Зуммеру, становясь в атакующее положение. Зуммер, не прекращая огня, дал весь газ в мотор, поставил наиболее выгодное зажигание и пошел точным прямым курсом в лоб противника, желая уничтожить его своим пулеметным огнем и добить ударом винта в винт, тело в тело, взять врага в таран. Противник Эриха, не успев занять выгодной боевой позиции, понял маневр Зуммера и стал резко набирать высоту. Он решил, вероятно, поразить Зуммера сверху. Однако, запрокинув машину, Зуммер очутился в хвосте противника и неотступно последовал за ним.

Зуммер лучше владел тяговой работой мотора, чем его противник, поэтому Эрих догонял противника, идущего на машине той же серии. Ведя огонь и преследование, Зуммер вспомнил про последний, живой самолет, который еще может его ударить. Он поискал его глазами в небе

и увидел темный силуэт машины и сверкание огня из патрубков ее мотора далеко в стороне. Машина ушла из боя в бегство. «Жаль, — подумал Эрих. — Темно, полночь, фашисты уже близко, не догоню».

Резкий свет, как безмолвный взрыв, вспыхнул впереди Зуммера, и летчик зажмурился: «Я горю? Нет», — Эрих отпустил гашетку, потянул ручку управления, сделал крутой виток петли, вырываясь из гибели, пошел обратным курсом и опомнился.

Машина противника, вращаясь и скручивая собственное пламя, бьющее из ее корпуса, уходила под ним вниз, чтобы вонзиться в землю или раздробиться о скалу.

«Кончено», — сказал Эрих и вздохнул с удовлетворением, как после выполненной мучительной работы. Он развернул машину и повел ее в Испанию. Небо теперь было пусто вокруг него.

По ту сторону Пиренеев лежал туман, Зуммер, сберегая горячее, не стал обходить его сверху, а вошел во влажную тьму и пошел сквозь нее прямым курсом. Он летел сейчас на уменьшенной скорости и рассчитывал свой путь, чтобы посадить машину на республиканскую землю. Можно было бы вскоре пойти на снижение, но по соображению летчика под ним находились предгорья Пиренеев, а туман, наверное, стлался до самой поверхности земли, стеснив тьму ночи в густой мрак.

Зуммер оглянулся на покойного штурмана; тот молчал, хотя еще недавно он был уверен в завоевании всего мира. Пусть спят спокойно и вечно все завоеватели мира — они жизнь хотели превратить в игру и в этой игре выиграть; они предполагали в своем жалком сознании, что действительность — лишь шутка, и у них не достало ни скромности, ни благородства, ни привязанности к людям, — так пусть же они спят мертвыми.

Зуммер увидел слабый свет. Он вышел туда, где светился свет, и увидел море, занимающееся рассветом будущего дня, первоначальной зарею нового времени. Зуммер повернул машину. Он понял, что вылетел в Средиземное море и миновал Каталонию.

Летчик пошел обратно к берегу земли. Ключья тумана, разрываемые винтом, проносились под машиной. Зуммер дал мотору полное, предельное число оборотов, и машина понесла его вперед с такою покорной и радостной мощью, точно Эрих летел в свое давно заслуженное, близкое, ожидающее его счастье.

Зуммер достиг земли и полетел над нею. Если море уже светилось перед рассветом, то здесь, над темными пашнями, было еще глухо и сумрачно, здесь шла ночь и продолжался сон народа, животных и растений...

Пролетев еще немного, Зуммер пошел на посадку. Туман действительно стлался до самой земли, словно рождался из нее, и Зуммер долго летел у поверхности почвы, почти бежал по ней, рискуя вонзиться либо в гору, либо в хижину земледельца или кочующего пастуха. Пролетев километра два, Зуммер повернул обратно и посадил машину на безвестное поле, осторожно притерев ее к неровной земле.

Было еще совсем темно и сумрачно в ночном тумане. Зуммер потушил мотор и свет над доской приборов, положил револьвер себе на колени и задремал до рассвета.

Очнувшись от сна, он услышал отдаленный гул орудий. Летчик вышел из машины и оглядел местную землю. Уже наступило утро, и низовой туман, снедаемый светом солнца, свертывался, подымался немного вверх и рассеивался; тихий свет уничтожал туман, как его уничтожает вихрь, и обнажал простую непокрытую землю. Это был картофельный огород, через который пролежала дорога, взрытая тяжелыми повозками. Ботва картофеля слабо развилась от засухи, и много картофельных кустов было преждевременно вырвано из почвы: очевидно, люди выбирали недозревшую картошку, чтобы кормиться. Зуммер направился по дороге, желая встретить кого-нибудь или разглядеть какой-либо признак, чтобы узнать, чья это земля — республиканская или фашистская, и не заблудился ли он.

Пока Зуммер шел, утро распространилось повсюду, и земля стала далеко видна. К северу на горизонте были горы, к югу, километров за пять отсюда, лежали мягкие возвышенности, и

оттуда шел волнообразный постоянный гул работающей артиллерии, точно там было обычное промышленное предприятие.

Картофельное поле сменилось плантацией сахарной свеклы, а в стороне от дороги, среди зелени свеклы, Зуммер увидел бедный крестьянский дом, сложенный из известкового камня. Деревни поблизости не было видно, и в одиноком известковом доме жил, наверно, сторож этой плантации или ночевали крестьяне в рабочее время.

Эрих Зуммер пошел к тому жилищу. Еще не дойдя до него, он увидел ямы в земле от падавших сюда артиллерийских снарядов. Изгороди или каменной ограды вокруг дома не было, уцелевшая свекла росла прямо от стен жилища. Деревянная дверь лежала у крыльца дома, сброшенная наружу, и Зуммер сразу увидел, еще не войдя в дом, что внутри жилища ярко светит свет утреннего неба. Черепичная кровля и потолочный настил были снесены одним ударом артиллерийского снаряда, и теперь небо стало близким к глинобитному полу крестьянского дома.

Внутри дома была всего одна комната. В ней было сейчас прибрано, чисто, кто-то уже убрал сор и обломки от разрушенного потолка. У входа стоял деревянный стол с пустым ведром для воды и скамья для отдыха, а в глубине жилища находилась большая семейная кровать. На той кровати сидел ребенок, мальчик лет семи или восьми, и смотрел на вошедшего Эриха Зуммера. Большие глаза ребенка были широко открыты, как утренний рассвет, но они глядели пусто, точно в них было безоблачное, равнодушное небо. Мальчик уставился глазами на чужого человека, а сам не видел или не понимал летчика: во взоре ребенка не было ни страха, ни удивления, ни вопроса.

Эрих близко подошел к мальчику и спросил его по-испански (Зуммер знал несколько обыденных фраз):

— Где твоя мама?.. Она ушла за водой?..

Мальчик не ответил ему. Он сидел босой, в одних штанах, державшихся на пуговице и на лямке через плечо, и без рубашки. Светлые глаза его, глядящие из большой младенческой головы, по-прежнему не выражали ничего, будто он находился в сновидении или видел что-то другое, отчего не мог оторваться и чего не видел Зуммер.

Эрих поднял ребенка к себе на руки и пошел с ним к машине. Мальчик покорно сидел на руках Эриха и даже прильнул к его плечу в утомлении.

Солнечный день сиял над большими полями, не оставив более нигде следа ночи и тумана. Артиллерия гудела вдали, и гул ее шел не только по воздуху, но и передавался через содрогание земли.

Мальчик тихо пробормотал что-то про себя на плече Эриха и умолк. Зуммер дошел с ним до самолета и усадил ребенка в кабину на свое место. Затем он дал мальчику шоколад и велел ему есть, а сам занялся штурманом.

Эрих размундировал штурмана, открепил его от кресла, выволок наружу и бросил прочь на землю, а потом спустился сам из машины и отволок труп в сторону, в картофельную ботву. Крови из Кенига ничего не вышло, и штурманское место осталось чистым.

Испанский мальчик покорно жевал шоколад, но забывал или не мог его глотать, поэтому весь рот ребенка был набит шоколадом, а он равнодушно жевал и жевал его дальше. Зуммер попросил мальчика глотать шоколад показал ему, как нужно это делать, но ребенок не слушал летчика и не смотрел на него. Тогда Эрих достал фляжку с коньяком, полил его немного себе на пальцы, а остальное выпил. Вытерев пальцы, Эрих выбрал ими шоколад изо рта мальчика. Ребенок непонимающе смотрел перед собой, затем в глазах его появилось выражение внимания и даже интереса, и он начал бормотать неясные детские слова на родном языке. Поговорив, мальчик умолкал, как бы вслушиваясь, что ему говорит что-то изнутри его души, и опять начинал быстро говорить в ответ кому-то.

Зуммер сидел на полу кабины и слушал ребенка, стараясь понять его. А мальчик бормотал теперь почти не останавливаясь, он все более погружался в свой внутренний мир и

в свое воображение; глаза его опять опустели, они смотрели открыто, но были как ослепшие, и ребенок уже вовсе не чувствовал сейчас ничего, что существует вокруг него. Вся его сила уходила в создание не видимого никому внутреннего мира, в переживание этого мира и в младенческое бормотание.

В тоске своей Зуммер видел, как этот ребенок, живой и дышащий, все более удалялся от него в свое безумие, навсегда скрываясь туда, умирая для всех и уже не чувствуя ничего живого вне себя, вне своего маленького сердца и сознания, съедающего самого себя в непрерывной работе воображения. Зуммер понимал, что безумие мальчика было печальнее смерти: оно обрекало его на невозвратное, безвыходное одиночество.

Но что случилось в мире перед его глазами, от чего этот ребенок был вынужден забыть всю природу и всех людей, чтобы сжаться в жалость своего безумия, как в единственную самозащиту своей жизни? Этого Эрих не мог в точности узнать, хотя и понимал, что современный мир войны и фашизм редко будет дарить детям что-либо другое, кроме смерти и безумия, а взрослым — то слабоумие, которым обладал Фридрих Кениг и обладает и будет, скажем, обладать Клара Шлегель.

Мальчик перестал бормотать и потер себе глаза обеими руками, точно стараясь проснуться, а потом опять начал говорить что-то шепотом, спеша и сбиваясь, и в этом тревожном, спешащем шепоте была, как показалось Эриху, борьба с тайным страданием, желание утолить его и отдохнуть.

«Нет, я не оставлю его жить одного, — сказал Эрих. — Я буду терпеть все и жить, чтобы он не умер... Я буду работать и драться, я не устану и не погибну».

Он взял руку мальчика, погладил ее и поцеловал. Ребенок вдруг взглянул на Эриха, будто узнавая его, потом закрыл глаза и заплакал. Он опустил с кресла летчика на пол, доверчиво прикоснулся к Эриху и внятно сказал несколько слов, из которых Эрих понял, или ему так почудилось, что мальчик хочет увидеть свою маму и просит Эриха отыскать ему ее.

— Ты увидишь свою маму, — сказал Эрих наполовину по-испански, наполовину по-немецки. — Мы отыщем ее, и ты будешь жить вместе с нею всегда.

Мальчик задумчиво и спокойно посмотрел на Эриха, словно он понял его и поверил ему.

Станный свет сверкнул в глаза Зуммера, и тяжелый удар воздуха пошевелил плоскости машины. Летчик увидел невдалеке, на картофельном поле, куски темной земли, уже падавшие обратно с воздуха вниз. Землю только что разорил и выбросил павший туда снаряд. Видимо, Зуммера заметила республиканская артиллерия и по типу машины его правильно приняла за немца. «Это хорошо, — подумал Эрих. — Следующим снарядом они разобьют меня».

Он усадил мальчика на место штурмана, прикрепил его лямками и поясом к сиденью, чтобы ребенок надежно держался на виражах и фигурах машины, а затем устроился сам на своем месте пилота.

Эрих приготовился к взлету и уже хотел нажать кнопку самопуска мотора, но, внимательно поглядев вперед, он раздумал запускать мотор. Впереди машины, приближаясь к ней, ехали по полевой дороге какие-то всадники, человек сорок или больше. Эрих посмотрел на них в бинокль и догадался по одежде и темным лицам, что это марокканцы, их кавалерийский отряд.

Зуммер пустил мотор и пошел вразбег, держа направление прямо на марокканцев. Машина быстро приблизилась к всадникам, и тогда Эрих, не отрывая самолета от земли, взял гашетку пулеметов и начал сечь огнем заматававшихся кавалеристов. Но пулеметы Зуммера через несколько секунд стрельбы замолчали; они истратили весь свой боевой запас.

Эрих выбрал ручку управления, оторвал машину и ушел в высоту — искать вместе с мальчиком, сидящим за его спиной, республиканскую землю и мать этого ребенка или тех людей, которые заменят ему родителей и возвратят в его душу утраченный разум.

ВЕТЕР — ХЛЕБОПАШЕЦ

Когда свои войска наступают, солдату не с руки бывает попадать в тыловой госпиталь по нетрудному ранению. Лучше всегда на месте в медсанбате свою рану перетерпеть. Из госпиталя же долго нужно идти искать свою часть, потому что она, пока ты в госпитале томился, уже далеко вперед ушла, да еще ее вдобавок поперек куда-нибудь в другую дивизию переместили: найди ее тогда, а опоздать тоже нельзя — и службу знаешь, и совесть есть.

Шел я однажды по этому делу из госпиталя в свою часть. Я шел уже не в первый раз, а в четвертый, но в прежние случаи мы на месте в обороне стояли: откуда ушел, туда и ступай. А тут нет.

Иду я обратно к переднему краю и чувствую, что блуждаю. Вижу по видимости — не туда меня направили, моя часть либо правее будет, либо левее. Однако иду пока, чтоб найти место, где верно будет спросить.

И вижу я ветряную мельницу при дороге. В сторону от мельницы было недавно какое-то великое село, но оно погорело в уголья, и ничего там более нету. На мельнице три крыла целые, а остальные живы не полностью — в них попадали очередями и посекали насквозь тесину или отодрали ее вовсе прочь. Ну, я гляжу, мельница тихо кружится по воздуху. Неужели, думаю, там помол идет? Мне веселее стало на сердце, что люди опять зерно на хлеб мелют и война ушла от них. Значит, думаю, нужно солдату вперед скорее ходить, потому что позади него для народа настает мир и трудолюбие.

Подле мельницы я увидел еще, как крестьянин пашет землю под озимь. Я остановился и долго глядел на него, словно в беспамятстве: мне нравится хлебная работа в поле. Крестьянин был малорослый и шел за однолемешным плугом натужливо, как неумелый или непривычный. Тут я сразу сообразил один непорядок, а сначала его не обнаружил. Впереди плуга не было лошади, а плуг шел вперед и пахал, имея направление вперед, на мельницу. Я тогда подошел к пахарю ближе на проверку, чтобы узнать всю систему его орудия. На подходе к нему я увидел, что к плугу спереди упряжены две веревки, а далее они свиты в одно целое, и та цельная веревка уходила по земле в помещение мельницы. Эта веревка делала плугу натяжение и тихим ходом волокла его. А за плугом шел малый, лет не более пятнадцати, и держал плуг за рукоятку одной своей правой рукой, а левая рука у него висела свободно как сухорукая.

Я подошел к пахарю и спросил у него, чей он сам и где проживает. Пахарю и правда шел шестнадцатый год, и он был сухорукий, — потому он и пахал с натужением и боязливостью: ему страшно было, если лемех увязнет вглубь, тогда может лопнуть веревка. Мельница находилась близко от пахоты — сажений в двадцать всего, а далее пахать не хватало надежной веревки.

От своего интереса я пошел на мельницу и узнал весь способ запашки сухорукого малого. Дело было простое, однако же по рассудку и по нужде правильное. Внутри мельницы другой конец той рабочей веревки наматывался на вал, что крутил мельничный верхний жернов. Теперь жернов был поднят над нижним лежащим камнем и гудел вхолостую. А веревка накручивалась на вал и тянула пахотный плужок. Тут же по верхнему жернову неугомонно ходил навстречу круга другой человек, он сматывал веревку обратно и бросал ее наземь, а на валу он оставлял три либо четыре кольца веревки, чтобы шло натяжение плуга.

Малый на мельнице тоже был молодой, но на вид истошальный и немощный, будто бы жил он свой последний предсмертный срок.

Я опять направился наружу. Скоро плуг подошел близко к мельнице, и сухорукий малый сделал отцепку, и пряжка уползла в мельницу, а плужок остановился в почве.

Отошальный малый вышел с мельницы и поволок из нее за собой другой конец веревки. Потом вместе с пахарем они вдвоем поворотили плуг и покатали его обратно в дальний край пашни, чтоб упрячь там плуг снова и начать свежую борозду. Я им тут помог в их заботе.

Больной малый после упряжки плуга опять пошел на мельницу на свое занятие, и работа немного погодя началась сызнова.

Я тогда сам взялся за плуг и пошел в пахоте, а сухорукий следовал за мной и отдыхал.

Они, оказывается, мягчили почву под огород на будущее лето. Немцы угнали из их села всех годных людей, а на месте оставили только нерабочие, едоцкие души: малолетних детей и изнемогших от возраста стариков и старух. Сухорукого немцы не взяли по его инвалидности, а того малого, что на мельнице, оставили помирать как чахоточного. Прежде тот чахоточным не был, он заморился здесь на немецких военных работах; там он сильно остудился, работал некормлённым, терпел поругание и начал с тех пор чахнуть.

— Нас тут двое работников на всем нашем погорелом селе, — сказал мне сухорукий. — Мы одни и можем еще терпеть работу, а у других силы нету — они маленькие дети. А старым каждому по семьдесят лет и поболее. Вот мы и делаем вдвоем запашку на всех, мы здесь посеём огородные культуры.

— А сколько ж у вас всего-то душ едоков? — спросил я у сухорукого парня.

— Всего-то немного: сорок три души осталось, — сообщил мне сухорукий. — Нам бы только до лета дожить... Но мы доживем: нам зерновую ссуду дали. Как покончим пашню, так тележку на шариковых подшипниках начнем делать: легче будет, а то силы мало — у меня одна рука, у того грудь болит... Нам зерно надо с базы возить — от нас тридцать два километра.

— А лошадей иль скотины неужели ни одной головы не осталось? — спросил я тут у сухорукого; я посмотрел на него — он показался мне пожилым, но на самом деле он был подростком: глаза у него были чистые и добрые, тело не выкормлено еще до мужского роста, но лицо его уже не по возрасту тронулось задумчивой заботой и посерело без радости.

— Не осталось, — сказал мне он. — Скотину немцы поели, лошади пали на ихней работе, а последних пятерых коней и племенного жеребца они с собой угнали.

— Проживете теперь? — я у него спросил.

— Отдыхимся, — сказал мне сухорукий. — У нас желание есть: видишь — пашем вот вдвоем да ветер нам на помощь, а то бы в один лемех впрягать надо душ десять — пятнадцать, а где их взять! Кой-кто от немцев с дороги сбежит — тот воротится, запашку с весны большую начнем, ребятишки расти будут... Старики вот только у нас дюже ветхие, силы у них ушли, а думать они могут...

— А это кто ж вам придумал такую пахоту? — спросил я.

— Дед у нас один есть, Кондрат Ефимович, он говорит — всю вселенную знает. Он нам сказал — как надо, а мы сделали. С ним не помрешь. Он у нас теперь председатель, а я у него заместитель.

Однако мне, как солдату, некогда было далее на месте оставаться. Слова да гутóры доведут до камóры. И жалко мне было сразу разлучаться с этим сухоруким пахарем. Тогда — что же мне делать — я поцеловался с ним на прощанье, чувствуя братство нашего народа: он был хлебопашец, а я солдат. Он кормит мир, а я берегу его от смертного немца. Мы с пахарем живем одним делом.

ЦВЕТOK НА ЗЕМЛЕ

Скучно Афоне жить на свете. Отец его на войне, мать с утра до вечера работает в колхозе на молочной ферме, а дедушка Тит спит на печке. Он и днем спит, и ночью спит, а утром, когда просыпается и ест кашу с молоком, он тоже дремлет.

— Дедушка, ты не спи, ты уж выспался, — сказал нынче утром Афоня дедушке.

— Не буду, Афонюшка, я не буду, — ответил дед. — Я лежать буду и на тебя глядеть.

— А зачем ты глаза закрываешь и со мной ничего не говоришь? — спросил тогда Афоня.

— Нынче я не буду глаза смежать, — обещал дедушка Тит. — Нынче я на свет буду смотреть.

— А отчего ты спишь, а я нет?

— Мне годов много, Афонюшка... Мне без трех девяносто будет, глаза уж сами жмурятся.

— А тебе ведь темно спать, — говорил Афоня. — На дворе солнце горит, там трава растет, а ты спишь, ничего не видишь.

— Да я уж все видел, Афонюшка.

— А отчего у тебя глаза белые и слезы в них плачут?

— Они выцвели, Афонюшка, они от света выцвели и слабые стали; мне глядеть ведь долго пришлось.

Афоня осмотрел деда, какой он есть. В бороде деда были хлебные крошки, и там жил еще один комарик. Афоня встал на лавку, выбрал все крошки из бороды у деда, а комарика прогнал оттуда — пусть живет отдельно. Руки дедушки лежали на столе; они были большие, кожа на них стала как кора на дереве, и под кожей видны были толстые черные жилы, эти руки много земли испахали.

Афоня поглядел в глаза деду. Глаза его были открыты, но смотрели равнодушно, не видя ничего, и в каждом глазу светилась большая капля слезы.

— Не спи, дедушка! — попросил Афоня.

Но дедушка уже спал. Мать подсадила его, сонного, на печку, укрыла одеялом и ушла работать. Афоня же остался один в избе, и опять ему скучно стало. Он ходил вокруг деревянного стола, смотрел на мух, которые окружили на полу хлебную крошку, упавшую из бороды деда, и ели ее; потом Афоня подходил к печке, слушал, как дышит там спящий дед, смотрел через окно на пустую улицу и снова ходил вокруг стола, не зная, что делать.

— Мамы нету, папы нет, дедушка спит, — говорил Афоня сам себе. Потом он посмотрел на часы-ходики, как они идут. Часы шли долго и скучно: тик-так, тик-так, будто они баюкали деда, а сами тоже утомились и хотели уснуть.

— Проснись, дедушка, — просил Афоня. — Ты спишь?

— А? Нету, я не сплю, — ответил дедушка Тит с печки.

— Ты думаешь? — спрашивал Афоня.

— А? Я тут, Афоня, я тут.

— Ты думаешь там?

— А? Нету, я все обдумал, Афонюшка, я смолоду думал.

— Дедушка Тит, а ты все знаешь?

— Все, Афоня, я все знаю.

— А что это, дедушка?

— А чего тебе, Афонюшка?

— А что это все?

— А я уж позабыл, Афоня.

— Проснись, дедушка, скажи мне про все!

— А? — произнес дедушка Тит.

— Дедушка Тит! Дедушка Тит! — звал Афоня. — Ты вспомни! Но дед уже умолк, он опять уснул в покое на русской печи.

Афоня тогда сам залез на печь к дедушке и начал будить его, чтобы он проснулся. А дед спал и только шептал тихо во сне неслышные слова. Афоня утомился его будить и сам уснул возле деда, прильнув к его доброй знакомой груди, пахнувшей теплой землею.

Очнувшись от сна, Афоня увидел, что дед глядит глазами и не спит.

— Вставай, дедушка, — сказал Афоня. А дед опять закрыл глаза и уснул. Афоня подумал, что дед тогда не спит, когда он спит; и он захотел никогда не спать, чтобы подкараулить деда, когда он совсем проснется.

И Афоня стал ожидать. Часы-ходики тикали, и колесики их поскрипывали и напевали, баюкая деда.

Афоня тогда слез с печи и остановил маятник у часов. В избе стало тихо. Слышно стало, как отбивает косяк косарь за рекой и тонко звенит мошка под потолком.

Дедушка Тит очнулся и спросил:

— Ты чего, Афоня? Что-то шумно так стало? Это ты шумел?

— А ты не спи! — сказал Афоня. — Ты скажи мне про все! А то ты спишь и спишь, а потом умрешь, мама говорит — тебе недолго осталось; кто мне тогда скажет про все?

— Обожди, дай мне квасу испить, — произнес дед и слез с печи.

— Ты опомнился? — спросил Афоня.

— Опомнился, — ответил дед. — Пойдем сейчас белый свет пытаться. Старый Тит испил квасу, взял Афонию за руку, и они пошли из избы наружу.

Там солнце высоко стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже.

Дед повел Афонию полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо росшего корнем из мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и осторожно потрогал тот цветок.

— Это я сам знаю! — протяжно сказал Афоня. — А мне нужно, что самое главное бывает, ты скажи мне про все! А этот цвет растет, он не все!

Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.

— Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь — песок мертвый лежит, он каменная крошка, и более нет ничего, а камень не живет и не дышит, он мертвый прах. Понял теперь?

— Нет, дедушка Тит, — сказал Афоня. — Тут понятного нету.

— Ну, не понял, так чего же тебе надо, раз ты непонятливый? А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из мертвого праха. Стало быть, он мертвую сыпучую землю обращает в живое тело, и пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом свете, вот тебе и есть, откуда все берется. Цветок этот — самый святой труженик, он из смерти работает жизнь.

— А трава и рожь тоже главное делают? — спросил Афоня.

— Одинаково, — сказал дедушка Тит.

— А мы с тобой?

— И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем. А этот вот желтый цвет на лекарство идет, его и в аптеке берут. Ты бы нарвал их да снес. Отец-то твой ведь на войне; вдруг поранят его, или он от болезни ослабнет, вот его и полечат лекарством.

Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь делать из смерти жизнь; он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка голубые, красные, желтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и дышащие чистым духом в белый свет.

— Теперь я сам знаю про все! — сказал Афоня. — Иди домой, дедушка, ты опять, должно, спать захотел: у тебя глаза белые... Ты спи, а когда умрешь, ты не бойся, я узнаю у цветов, как они из праха живут, и ты опять будешь жить из своего праха. Ты, дедушка, не бойся!

Дед Тит ничего не сказал. Он невидимо улыбнулся своему доброму внуку и пошел опять в избу на печку.

А маленький Афоня остался один в поле. Он собрал желтых цветов, сколько мог их удержать в охапке, и отнес в аптеку, на лекарства, чтобы отец его не болел на войне от ран. В аптеке Афоне дали за цветы железный гребешок. Он принес его деду и подарил ему: пусть теперь дедушка чешет себе бороду тем гребешком.

— Спасибо тебе, Афонюшка, — сказал дед. — А цветы тебе ничего не сказывали, из чего они в мертвом песке живут?

— Не сказывали, — ответил Афоня. — Ты вон сколько живешь, и то не знаешь. А говорил, что знаешь про все. Ты не знаешь.

— Правда твоя, — согласился дед.

— Они молча живут, надо у них допытаться, — сказал Афоня. — Чего все цветы молчат, а сами знают?

Дед кротко улыбнулся, погладил головку внука и посмотрел на него, как на цветок, растущий на земле. А потом дедушка спрятал гребешок за пазуху и опять заснул.

ЕЩЕ МАМА

А я, когда вырасту, я в школу ходить не буду! — сказал Артем своей матери, Евдокии Алексеевне. — Правда, мама?

— Правда, правда, — ответила мать. — Чего тебе ходить!

— Чего мне ходить? Нечего! А то я пойду, а ты заскучаешь по мне. Не надо лучше!

— Не надо, — сказала мать, — не надо!

А когда прошло лето и стало Артему семь лет от роду, Евдокия Алексеевна взяла сына за руку и повела его в школу. Артем хотел было уйти от матери, да не мог вынуть свою руку из ее руки; рука у матери теперь была твердая, а прежде была мягкая.

— Ну что ж! — сказал Артем. — Зато я домой скоро приду! Правда, скоро?

— Скоро, скоро, — ответила мать. — Поучись чуть-чуть и домой пойдешь.

— Я чуть-чуть, — соглашался Артем. — А ты по мне дома не скучай!

— Не буду, сынок, я не буду скучать.

— Нет, ты немножко скучай, — сказал Артем. — Так лучше тебе будет, а то что! А игрушки из угла убирать не надо: я приду и сразу буду играть, я бегом домой прибегу.

— А я тебя ждать буду, — сказала мать, — я тебе оладьев нынче испеку.

— Ты будешь ждать меня? — обрадовался Артем. — Тебе ждать не дожждаться! Эх, горе тебе! А ты не плачь по мне, ты не бойся и не умри смотри, а меня дождайся!

— Да уж ладно! — засмеялась мать Артема. — Уж дождусь тебя, милый мой, авось не помру!

— Ты дыши и терпи, тогда не помрешь, — сказал Артем. — Гляди, как я дышу, так и ты.

Мать вздохнула, остановилась и показала сыну вдаль. Там, в конце улицы, стояла новая большая рубленая школа — ее целое лето строили, — а за школой начинался темный лиственный лес. До школы отсюда еще было далеко, до нее протянулся долгий ряд домов — дворов десять или одиннадцать.

— А теперь ступай один, — сказала мать. — Привыкай один ходить. Школу-то видишь?

— А то будто! Вон она!

— Ну иди, иди, Артемушка, иди один. Учительницу там слушайся, она тебе вместо меня будет.

Артем задумался.

— Нету, она за тебя не будет, — тихо произнес Артем, — она чужая.

— Привыкнешь, Аполлинария Николаевна тебе как родная будет. Ну, иди!

Мать поцеловала Артема в лоб, и он пошел далее один.

Отошедши далеко, он оглянулся на мать. Мать стояла на месте и смотрела на него. Артему хотелось заплакать по матери и вернуться к ней, но он опять пошел вперед, чтобы мать не обиделась на него. А матери тоже хотелось догнать Артема, взять его за руку и вернуться с ним домой, но она только вздохнула и пошла домой одна.

Вскоре Артем снова обернулся, чтобы поглядеть на мать, однако ее уже не было видно.

И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крикнул и защемил клювом штанину у Артема, а заодно захватил и живую кожу на его ноге. Артем рванулся прочь и спасся от гусака. «Это страшные дикие птицы, — решил Артем, — они живут вместе с орлами».

На другом дворе были открыты ворота. Артем увидел лохматое животное с приставшими к нему репьями, животное стояло к Артему хвостом, но все равно оно было сердитое и видело его.

«Ктой-то это? — подумал Артем. — Волк, что ли?» Артем оглянулся в ту сторону, куда ушла его мать, — и не видать ли ее там, а то этот волк побежит туда. Матери не было видно, она уже дома, должно быть, это хорошо, волк ее не съест. Вдруг лохматое животное повернуло голову и молча оскалило на Артема пасть с зубами.

Артем узнал собаку Жучку.

— Жучка, это ты?

— Р-р-р! — ответила собака-волк.

— Тронь только! — сказал Артем. — Ты только тронь! Ты знаешь, что тебе тогда будет? Я в школу иду. Вон она виднеется!

— Ммм, — смиренно произнесла Жучка и шевельнула хвостом.

— Эх, далече еще до школы! — вздохнул Артем и пошел дальше. Кто-то враз и больно ударил Артема по щеке, словно вонзился в нее, и тут же вышел вон обратно.

— Это ктой-то еще? — напугался было Артем. — Ты чего дерешься, а то я тебе тоже... Мне в школу надо. Я ученик — ты видишь!

Он поглядел вокруг, а никого не было, один ветер шумел павшими листьями.

— Спрятался? — сказал Артем. — Покажись только!

На земле лежал толстый жук. Артем поднял его, потом положил на лопух.

— Это ты на меня из ветра упал. Живи теперь, живи скорее, а то зима настанет.

Сказавши так, Артем побежал в школу, чтобы не опоздать. Сначала он бежал по тропинке возле плетня, да оттуда какой-то зверь дыхнул на него горячим духом и сказал: «Ффурфурчи!»

— Не трожь меня: мне некогда! — ответил Артем и выбежал на середину улицы.

На дворе школы сидели ребята. Их Артем не знал, они пришли из другой деревни, должно быть, они учились давно и были все умные, потому что Артем не понимал, что они говорили.

— А ты знаешь жирный шрифт? Ого! — сказал мальчик из другой деревни.

А еще двое говорили:

— Нам хоботковых насекомых Афанасий Петрович показывал!

— А мы их прошли уже. Мы птиц учили до кишок!

— Вы до кишок только, а мы всех птиц до перелета проходили.

«А я ничего не знаю, — подумал Артем, — я только маму люблю! Убегу я домой!»

Зазвенел звонок. На крыльцо школы вышла учительница Аполлинария Николаевна и сказала, когда отзвенел звонок:

— Здравствуйте, дети! Идите сюда, идите ко мне.

Все ребята пошли в школу, один Артем остался во дворе. Аполлинария Николаевна подошла к нему:

— А ты чего? Оробел, что ли?

— Я к маме хочу, — сказал Артем и закрыл лицо рукавом. — Отведи меня скорее ко двору.

— Нет уж, нет! — ответила учительница. — В школе я тебе мама. Она взяла Артема под мышки, подняла к себе на руки и понесла. Артем исподволь поглядел на учительницу: ишь ты, какая она была, — она была лицом белая, добрая, глаза ее весело смотрели на него, будто она играть с ним хотела в игру, как маленькая. И пахло от нее так же, как от матери, теплым хлебом и сухою травой.

В классе Аполлинария Николаевна хотела было посадить Артема за парту, но он в страхе прижался к ней и не сошел с рук. Аполлинария Николаевна села за стол и стала учить детей, а Артема оставила у себя на коленях.

— Эк ты, селезень толстый какой на коленях сидит! — сказал один мальчик.

— Я не толстый! — ответил Артем. — Это меня орел укусил, я раненый. Он сошел с коленей учительницы и сел за парту.

— Где? — спросила учительница. — Где твоя рана? Покажи-ка ее, покажи!

— А вот тут! — Артем показал ногу, где гусак его защемил. Учительница оглядела ногу.

— До конца урока доживешь?

— Доживу, — обещал Артем.

Артем не слушал, что говорила учительница на уроке. Он смотрел в окно на далекое белое облако; оно плыло по небу туда, где жила его мама в родной их избушке. А жива ли она? Не померла ли от чего-нибудь — вот бабушка Дарья весною враз померла, не чаяли не гадали. А может быть, изба их без него загорелась, ведь Артем давно из дому ушел, мало ли что бывает.

Учительница видела тревогу мальчика и спросила у него:

— А ты чего, Федотов Артем, ты чего думаешь сейчас? Почему ты меня не слушаешь?

— Я пожара боюсь, наш дом сгорит.

— Не сгорит. В колхозе народ смотрит, он потушит огонь.

— Без меня потушат? — спросил Артем.

— Без тебя управятся.

После уроков Артем первым побежал домой.

— Подожди, подожди, — сказала Аполлинария Николаевна. — Вернись назад, ты ведь раненый. А ребята сказали:

— Эк, какой — инвалид, а бегаешь!

Артем остановился в дверях, учительница подошла к нему, взяла его за руку и повела с собою. Она жила в комнатах при школе, только с другого крыльца. В комнатах у Аполлинарии Николаевны пахло цветами, тихо звенела посуда в шкафу, и всюду было убрано чисто, хорошо.

Аполлинария Николаевна посадила Артема на стул, обмыла его ногу теплой водой из таза и перевязала красное пятнышко — щипок гусака — белой марлей.

— А мама твоя будет горевать! — сказала Аполлинария Николаевна. — Вот горевать будет!

— Не будет! — ответил Артем. — Она оладьи печет!

— Нет, будет. Эх, скажет, зачем Артем в школу нынче ходил? Ничего он там не узнал, а пошел учиться — значит, он маму обманул, значит, он меня не любит, скажет она и сама заплачет.

— И правда! — испугался Артем.

— Правда. Давай сейчас учиться.

— Чуть-чуть только, — сказал Артем.

— Ладно уж, чуть-чуть, — согласилась учительница. — Ну, иди сюда, раненый.

Она взяла его к себе на руки и понесла в класс. Артем боялся упасть и прильнул к учительнице. Снова он почувствовал тот же тихий и добрый запах, который он чувствовал возле матери, а незнакомые глаза, близко глядевшие на него, были несердитые, точно давно знакомые. «Не страшно», — подумал Артем.

В классе Аполлинария Николаевна написала на доске одно слово и сказала:

— Так пишется слово «мама». — И велела писать эти буквы в тетрадь.

— А это про мою маму? — спросил Артем.

— Про твою.

Тогда Артем старательно начал рисовать такие же буквы в своей тетради, что и на доске. Он старался, а рука его не слушалась; он ей подговаривал, как надо писать, а рука гуляла сама по себе и писала каракули, не похожие на маму. Осерчавши, Артем писал снова и снова четыре буквы, изображающие «маму», а учительница не сводила с него своих радующихся глаз.

— Ты молодец! — сказала Аполлиария Николаевна.

Она увидела, что теперь Артем сумел написать буквы хорошо и ровно.

— Еще учи! — попросил Артем. — Какая это буква: вот такая — ручки в бочки?

— Это Ф, — сказала Аполлиария Николаевна.

— А жирный шрифт что?

— А это такие вот толстые буквы.

— Кормлёные? — спросил Артем. — Больше не будешь учить — нечему?

— Как так «нечему»? Ишь ты какой! — сказала учительница. — Пиши еще!

Она написала на доске: «Родина».

Артем стал было переписывать слово в тетрадь, да вдруг замер и прислушался.

На улице кто-то сказал страшным заунывным голосом: «У-у!», а потом еще раздалось откуда-то, как из-под земли: «Н-н-н!».

И Артем увидел в окне черную голову быка. Бык глянул на Артема одним кровавым глазом и пошел к школе.

— Мама! — закричал Артем.

Учительница схватила мальчика и прижала его к своей груди.

— Не бойся! — сказала она. — Не бойся, маленький мой. Я тебя не дам ему, он тебя не тронет.

— У-у-у! — прогудел бык.

Артем обхватил руками шею Аполлиарии Николаевны, а она положила ему свою руку на голову.

— Я прогоню быка. Артем не поверил.

— Да. А ты не мама!

— Мама!.. Сейчас я тебе мама!

— Ты еще мама? Там мама, а ты еще, ты тут.

— Я еще. Я тебе еще мама!

В классную комнату вошел старик с кнутом, запыленный землей; он поклонился и сказал:

— Здравствуйте, хозяйева! А что, нету ли кваску испить либо воды? Дорога сухая была...

— А вы кто, вы чьи? — спросила Аполлиария Николаевна.

— Мы дальние, — ответил старик. — Мы скрозь идем вперед, мы племенных быков по плану гоним. Слышите, как они нутром гудят? Звери лютые!

— Они вот детей могут изувечить, ваши быки! — сказала Аполлиария Николаевна.

— Еще чего! — обиделся старик. — Ая-то где? Детей я уберегу! Старик пастух напился из бака кипяченой воды — он полбака выпил, — вынул из своей сумки красное яблочко, дал его Артему. «Ешь, — сказал, — точи зубы», — и ушел.

— А еще у меня есть еще мамы? — спросил Артем. — Далеко-далеко, где-нибудь?

— Есть, — ответила учительница. — Их много у тебя.

— А зачем много?

— А затем, чтоб тебя бык не забодал. Вся наша Родина — еще мама тебе. Вскоре Артем пошел домой, а на другое утро он спозаранку собрался в школу.

— Куда ты? Рано еще, — сказала мать.

— Да, а там учительница Аполлиария Николаевна! — ответил Артем.

— Ну что ж, что учительница. Она добрая.

— Она, должно, уже соскучилась, — сказал Артем. — Мне пора. Мать наклонилась к сыну и поцеловала его на дорожку.

— Ну, иди, иди помаленьку. Учись там и расти большой.

КОРОВА

Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае. Этот сарай, сделанный из выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного сторожа. В сарае, рядом с дровами, сеном, просяной соломой и отжившими свой век домашними вещами — сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одежной ветошью, стулом без ножек, — было место для ночлега коровы и для ее жизни в долгие зимы.

Днем и вечером к ней в гости приходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил ее по шерсти около головы. Сегодня он тоже пришел.

— Корова, корова, — говорил он, потому что у коровы не было своего имени, и он называл ее, как было написано в книге для чтения. — Ты ведь корова!.. Ты не скучай, твой сын выздоровеет, его нынче отец назад приведет.

У коровы был теленок — бычок; он вчерашний день подавился чем-то, и у него стала идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что теленок падет, и повел его сегодня на станцию — показать ветеринару.

Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку. Она всегда узнавала мальчика, он любил ее. Ему нравилось в корове все, что в ней было, — добрые теплые глаза, обведенные темными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива, рога, лоб и ее большое худое тело, которое было таким потому, что свою силу корова не собирала для себя в жир и в мясо, а отдавала ее в молоко и в работу. Мальчик поглядел еще на нежное, покойное вымя с маленькими осохшими сосками, откуда он кормился молоком, и потрогал крепкий короткий погрудок и выступы сильных костей спереди.

Посмотрев немного на мальчика, корова нагнула голову и взяла из корыта нежадным ртом несколько былинки. Ей было некогда долго глядеть в сторону или отдыхать, она должна жевать непрерывно, потому что молоко в ней рожалось тоже непрерывно, а пища была худой, однообразной, и корове нужно с нею долго трудиться, чтобы напиться.

Вася ушел из сарая. На дворе стояла осень. Вокруг дома путевого сторожа простирались ровные, пустые поля, отражавшие и отшумевшие за лето и теперь выкошенные, заглохшие и скучные.

Сейчас начинались вечерние сумерки; небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою; ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих, низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени.

Одноколейная линия железной дороги пролегла невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже все посохло и поникло — и трава и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной.

Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу, на скамейку.

— Скоро четверста шестой пойдет, — сказала она сыну, — ты его проводи. Отца-то что-то не видать... Уж не загулял ли?

Отец ушел с теленком на станцию, за семь километров, еще с утра; он, наверно, сдал ветеринару теленка, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьет, либо на консультацию по техминимуму пошел. А может быть, очередь на ветпункте большая и отец ожидает. Вася взял фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда еще не было слышно, и мальчик огорчился; ему некогда было сидеть тут и провожать поезда: ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать, а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за пять километров от дома и учился там в четвертом классе.

Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал, который был вдали от него. Нил, Египет,

Испания и Дальний Восток, великие реки — Миссисипи, Енисей, тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров Уединения в Ледовитом океане — все это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придет к ним. Но он еще нигде не успел побывать: родился он здесь же, где жил и сейчас, а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов, — кто они такие и что они думают, — но поезда шли быстро, и люди проезжали в них не узнаваемыми мальчиком на переезде. Кроме того, поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью.

Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь, в незнакомое для него место на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свиданья, человек!» — и еще помахал на память рукою. «До свиданья, — ответил ему Вася про себя, — вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, не умирай!» И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда; он, наверное, был парашютист, артист, или орденносец, или еще лучше, так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать и чувствовать другое.

Далеко — в пустой ночи осенних полей — пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал еще некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся к своему дому. На их дворе жалобно замычала корова.

Она все время ждала своего сына — теленка, а он не приходил. «Где же это отец так долго шатается! — с недовольством подумал Вася. — Наша корова ведь уже плачет! Ночь, темно, а отца все нет».

Паровоз достиг переезда и, тяжело проворачивая колеса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человека с фонарем в руке. Механик и не посмотрел на мальчика, — далеко высунувшись из окна, он следил за машиной: пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъем, и машина с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, отчего работает паровая машина, он прочитал про нее в учебнике по физике, а если бы там не было про нее написано, он все равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, отчего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь; у машиниста была забота о машине, паровоз может стать ночью на долгом подъеме, и тогда ему трудно будет стронуть поезд вперед; при остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет врастяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места, а слабо его вовсе не сдвинешь.

Мимо Васи пошли тяжелые четырехосные вагоны; их рессорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжелый дорогой груз. Затем поехали открытые платформы: на них стояли автомобили, неизвестные машины, покрытые брезентом, был насыпан уголь, горой лежали кочаны капусты, после капусты были новые рельсы и опять начались закрытые вагоны, в которых везли живность. Вася светил фонарем на колеса и буксы вагонов — не было ли там чего неладного, но там было все благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная телушка, и тогда из сарая ей ответила протяжным, плачущим голосом корова, тоскующая о своем сыне.

Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился в тяжелой работе, колеса его буксовали и состав не натягивался. Вася направился с фонарем к паровозу, потому что машине было трудно, и он хотел побыть около нее, словно этим он мог разделить ее участь.

Паровоз работал с таким напряжением, что из трубы его вылетали кусочки угля и слышалась гулкая дышащая внутренность котла. Колеса машины медленно проворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шел по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал черного, измазанного в мазуте, утомленного человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел на балласт к работающему с лопатой помощнику машиниста.

— Дай, я буду, — сказал Вася. — А ты ступай помогай паровозу. А то вот-вот он остановится.

— А сумеешь? — спросил помощник, глядя на мальчика большими светлыми глазами из своего глубокого темного лица. — Ну попробуй! Только осторожней, оглядывайся на машину!

Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал ее обратно помощнику.

— Я буду руками, так легче.

Вася нагнулся, нагреб песку в горсти и быстро насыпал его полосой на головку рельса.

— Посыпай на оба рельса, — указал ему помощник и побежал на паровоз.

Вася стал сыпать по очереди, то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело, медленно шел вслед за мальчиком, растирая песок стальными колесами. Угольная гарь и влага из охлажденного пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шел за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался.

Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: «Эй, оглядывайся!.. Сыпь поуще, поровней!»

Вася берегся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают; он сбежал с пути и сам закричал машинисту:

— А вы чего без песка поехали? Иль не знаете!..

— Он у нас весь вышел, — ответил машинист. — У нас посуда для него мала.

— Добавочную поставьте, — указал Вася, шагая рядом с паровозом. — Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите.

Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос.

— И пар у вас идет, где не нужно; из цилиндра, из котла дует сбоку, — говорил Вася. — Только зря сила в дырки пропадает.

— Ишь ты! — сказал машинист. — А ты садись веди состав, а я рядом пойду.

— Давай! — обрадованно согласился Вася.

Паровоз враз, во всю полную скорость, завертел колесами на месте, точно узник, бросившийся бежать на свободу, даже рельсы под ним далеко загремели по линии.

Вася выскочил опять вперед паровоза и начал бросать песок на рельсы, под передние бегунки машины. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого, — бормотал машинист, укрощая буксованье паровоза. — Он с малолетства уже полный человек, а у него еще все впереди... Что за черт: не держат ли еще тормоза где-нибудь в хвосте, а бригада дремлет, как на курорте. Ну, я ее на уклоне растрясу».

Машинист дал два длинных гудка — чтоб отдали тормоза в составе, если где зажато.

Вася оглянулся и сошел с пути.

— Ты что же? — крикнул ему машинист.

— Ничего, — ответил Вася. — Сейчас не круто будет, паровоз без меня поедет, сам, а потом под гору...

— Все может быть, — произнес сверху машинист. — На, возьми-ка! — И он бросил мальчику два больших яблока.

Вася поднял с земли угощение.

— Обожди, не ешь! — сказал ему машинист. — Пойдешь назад, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста: не зажаты ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарем — знаешь как?

— Я все сигналы знаю, — ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз.

— Зажато! — крикнул он.

— Где? — спросил машинист.

— У тебя зажато — тележка под тендером! Там колеса крутятся тихо, а на другой тележке шибче!

Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком, а Вася соскочил с трапа и пошел домой.

Вдалеке светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов, но нигде не услышал, чтобы терлись и скрежетали тормозные колодки.

Состав прошел, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца.

— А телок наш где? — спросил мальчик у отца. — Он умер?

— Нет, он поправился, — ответил отец. — Я его на убой продал, мне цену хорошую дали. К чему нам бычок!

— Он еще маленький, — произнес Вася.

— Маленький дорожке, у него мясо нежней, — объяснил отец. Вася переставил стекло в фонаре, белое заменил зеленым и несколько раз медленно поднял сигнал над головой и опустил вниз, обратив его свет в сторону ушедшего поезда: пусть он едет дальше, колеса под вагонами идут свободно, они нигде не зажаты.

Стало тихо. Уныло и кротко промычала корова во дворе. Она не спала в ожидании своего сына.

— Ступай один домой, — сказал отец Васе, — а я наш участок обойду.

— А инструмент? — напомнил Вася.

— Я так; я погляжу только, где костыли повышли, а работать нынче не буду, — тихо сказал отец. — У меня душа по теленку болит: растили-растили его, уж привыкли к нему... Знал бы, что жалко его будет, не продал бы...

И отец пошел с фонарем по линии, поворачивая голову то направо, то налево, осматривая путь.

Корова опять протяжно заныла, когда Вася открыл калитку во двор и корова услышала человека.

Вася вошел в сарай и присмотрелся к корове, привыкая глазами ко тьме. Корова теперь ничего не ела; она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. Вася долго гладил и ласкал корову, но она оставалась неподвижной и равнодушной: ей нужен был сейчас только один ее сын — теленок, и ничего не могло заменить его — ни человек, ни трава и ни солнце. Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться: что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто.

И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри, она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе.

Утром Вася ушел спозаранку в школу, а отец стал готовить к работе небольшой однолемешный плуг. Отец хотел запахать на корове немного земли в полосе отчуждения, чтобы по весне посеять там просо.

Возвратившись из школы, Вася увидел, что отец пашет на корове, но запахал мало. Корова покорно волочила плуг и, склонив голову, капала слюной на землю. На своей корове Вася с отцом работали и раньше; она умела пахать и была привычна и терпелива ходить в ярме.

К вечеру отец распряг корову и пустил ее поспастись на жнивье по старополью. Вася сидел в доме за столом, делал уроки и время от времени поглядывал в окно — он видел свою корову. Она стояла на ближнем поле, не паслась и ничего не делала.

Вечер наступил такой же, какой был вчера, сумрачный и пустой, и флюгарка поскрипывала на крыше, точно напевая долгую песнь осени. Уставившись глазами в темнеющее поле, корова ждала своего сына; она уже теперь не мычала по нем и не звала его, она терпела и не понимала.

Поделав уроки, Вася взял ломоть хлеба, посыпал его солью и понес корове. Корова не стала есть хлеб и осталась равнодушной, как была. Вася постоял около нее, а потом обнял корову снизу за шею, чтоб она знала, что он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеей, отбросила от себя мальчика и, вскрикнув непохожим горловым голосом, побежала в поле. Убежав далеко, корова вдруг повернула обратно и, то прыгая, то припадая передними ногами и прижимаясь головой к земле, стала приближаться к Васе, ожидавшему ее на прежнем месте.

Корова пробежала мимо мальчика, мимо двора и скрылась в вечернем поле, и оттуда еще раз Вася услышал ее чужой горловой голос.

Мать, вернувшись из колхозного кооператива, отец и Вася до самой полночи ходили в разные стороны по окрестным полям и кликали свою корову, но корова им не отвечала, ее не было. После ужина мать заплакала, что пропала и кормилица и работница, а отец стал думать о том, что придется, видно, писать заявление в кассу взаимопомощи и в дорпрофсоюз, чтоб выдали ссуду на обзаведение новой коровой.

Утром Вася проснулся первым, еще был серый свет в окнах. Он расслышал, что около дома кто-то дышит и шевелится в тишине. Он посмотрел в окно и увидел корову; она стояла у ворот и ожидала, когда ее впустят домой...

С тех пор корова хотя и жила и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз, но молоко у нее пропало вовсе, и она стала угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу, ей было все равно, что делают с ней.

Среди дня корову выпускали в поле, чтоб она походила на воле и чтоб ей стадо лучше. Но корова ходила мало; она подолгу стояла на месте, затем шла немного и опять останавливалась, забывая ходить. Однажды она вышла на линию и тихо пошла по шпалам, тогда отец Васи увидел ее, окоротил и свел на сторону. А раньше корова была робкая, чуткая и никогда сама не выходила на линию. Вася поэтому стал бояться, что корову может убить поездом или она сама помрет, и, сидя в школе, он все думал о ней, а из школы бежал домой бегом.

И один раз, когда были самые короткие дни и уже смеркалось, Вася, возвращаясь из школы, увидел, что против их дома стоит товарный поезд. Встревоженный, он сразу побежал к паровозу.

Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти.

— Я ведь ей минут десять свистки давал, — говорил машинист отцу Васи. — Она глухая у тебя или дурная, что ль? Весь состав пришлось сажать на экстренное торможение, и то не успел.

— Она не глухая, она шалая, — сказал отец. — Задремала, наверно, на путях.

— Нет, она бежала от паровоза, но тихо и в сторону не сообразила свернуть, — ответил машинист. — Я думал, она сообразит.

Вместе с помощником и кочегаром, вчетвером, они выволокли изуродованное туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути.

— Она ничего, свежая, — сказал машинист. — Себе засолишь мясо или продашь?

— Продать придется, — решил отец. — На другую корову надо деньги собирать, без коровы трудно.

— Без нее тебе нельзя, — согласился машинист. — Собирай деньги и покупай, я тебе тоже немного деньжонок подброшу. Много у меня нет, а чуть-чуть найдется. Я скоро премию получу.

— Это за что же ты мне денег дашь? — удивился отец Васи. — Я тебе не родня, никто... Да я и сам управлюсь: профсоюз, касса, служба, сам знаешь — оттуда, отсюда...

— Ну, а я добавлю, — настаивал машинист. — Твой сын мне помогал, а я вам помогу. Вон он сидит. Здравствуй! — улыбнулся механик.

— Здравствуй, — ответил ему Вася.

— Я еще никого в жизни не давил, — говорил машинист, — один раз — собаку... Мне самому тяжело на сердце будет, если вам ничем за корову не отплачу.

— А за что ты премию получишь? — спросил Вася. — Ты едешь плохо.

— Теперь немного лучше стал, — засмеялся машинист. — Научился!

— Поставили другую посуду для песка? — спросил Вася.

— Поставили: маленькую песочницу на большую сменили! — ответил машинист.

— Насилу догадались, — сердито сказал Вася.

Здесь пришел главный кондуктор и дал машинисту бумагу, которую он написал, о причине остановки поезда на перегоне.

На другой день отец продал в сельский районный кооператив всю тушу коровы; приехала чужая подвода и забрала ее. Вася и отец поехали вместе с этой подводой. Отец хотел получить деньги за мясо, а Вася думал купить себе в магазине книг для чтения. Они заночевали в районе и провели там еще полдня, делая покупки, а после обеда пошли ко двору.

Идти им надо было через тот колхоз, где была семилетка, в которой учился Вася. Уже стемнело вовсе, когда отец и сын добрались до колхоза, поэтому Вася не пошел домой, а остался ночевать у школьного сторожа, чтобы не идти завтра спозаранку обратно и не мориться зря. Домой ушел один отец.

В школе с утра начались проверочные испытания за первую четверть. Ученикам задали написать сочинение из своей жизни.

Вася написал в тетради: «У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына — теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду».

Ко двору Вася вернулся в сумерки. Отец был уже дома, он только что пришел с линии; он показывал матери сто рублей, две бумажки, которые ему бросил с паровоза машинист в табачном кисете.

РАССКАЗ О МНОГИХ ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩАХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

рассказывающая о рождении Ивана Копчикова и о первых его похождениях

Одна девка с хутора Суржи — была его матерью. Она была рябая до того, что лицо ее походило на гороховое поле. И ни один суржинский парень не брал ее в жены. Понятное дело, кто ж согласится целовать такую рябую морду, на которой даже носа не видать вовсе. Его съели рябины.

А девке захотелось родить. Она пошла в дремучий лес и жила там 11 месяцев и 11 дней. С кем она там жила — никто не знает. Только однажды возвратилась она на хутор с месячным мальчишкой за пазухой. Он совсем голенький выглядывал из-за пазухи и улыбался, посвистывая в свой нос.

Нос его оказался очень большим и острым, как у птицы-кобчика. И все свистел нос, и все нюхал он воздух.

А когда потный и грязный брат девки подошел к мальчишке, мальчишка громко чихнул и замахал на брата ручонками. Брат ему, видно, не понравился.

— Ишь ты, — сказал тогда брат девкин, — прямо не ребенок у тебя, Глашка, а кобчик какой-то.

Так его и назвали: Иван Копчиков.

Но пьяница-поп не захотел крестить мальчишку. Он говорил:

— Кто его отец?

Глашка отвечала:

— Не знаю. Нету отца.

— Как так — нету? Без отца нельзя. Одна Богородица без отца могла рожать. Ты что ж — тоже богородица?

— Да нет. Я девка Глашка. Я вам батюшка, ковригу хлеба могу пожертвовать.

Поп просил две ковриги, полбутылки водки и десять селедок на закуску. Тогда он соглашался окрестить. А у Глашки этого не могло иметься: она была чересчур бедная и даже пеленок для ребенка не имела.

Так и остался Иван Копчиков некрещеным. И начал расти. Рос прямо рысью: в полгода вырос с аршин и начал ходить. А в 11 месяцев и 11 дней дернул мать за юбку и сказал просто и ясно:

— Мам, исть хотца. Дюже. Дай ломоть. Да поболе посоли.

ГЛАВА ВТОРАЯ

в которой Иван подрастает и из которой очевидно, откуда он

Встал на ноги Иван, поднял нос к небу, глянул — высоко.

Лес гудит в буре — густо. И рожь угнетается ветром низко и покорно. Только шершавит она и тонко поет, как кровь по жилам у матери.

Иван не знал еще ничему имен:

— Это што? Это кой-та? Аяй!

У дня покраснели глаза, уморился он и сомкнул их. Долго слезы и кровь текли по слезницам одноглавого дня и падали с неба на траву, холодела трава и мочилась.

Вечер. Тяжкая печаль в материнском Глашкином теле. Грудь висят ветошками, и ждет ее Иоан на татарском древнем кургане и смотрит вечер, в чуть звенящие по ветру звезды.

Жалко ему мать, жалко чужой дом. Страшно ждать ночь и ночью жить. А если мать не придет? Петра не пустит в хату.

— Мам! Мама!

Тяжко и густо, как чернозем после ливня, прет душевная сила из Ваняткина живота, из куска перепревшего черного хлеба.

В волчьей тоске зачал Ивана волк — Яким — человек почти не существующий. По обличию — скот и волк, по душе, по сердцу, по глазам — странник и нагое бьющееся сердце.

Когда пришла Глашка в лес, запела не своим голосом. Ибо подступила тесно и жарко к пышной надутой душе ее пламенная неукротимая сила.

Вышел Яким из куреня:

— Кто это орет? Неужели человек затосковал? Пойтить упредить.

Глядит — бредет тугая девка сама не своя.

— Ты што? — сказал Яким и сам задрожал. Скорбь и горе на девкином лице. И дождем мокнут впавшие ее человечьи глаза.

Обнял ее Яким. И сам заскорбел. И пал душою. Заволокся лес деревьями. Закрыв небо. И сперся стволами в страшной нагретой темноте.

— Голубь ты мой, птица высокая! Где же ты был, отчего не повстречался? — шептала Глашка. Она выдумывала лучшие слова, которые никогда сама не говорила, а слышала когда-то и забыла.

И утром очнулся Яким мокрый и уморенный. Никогда так не умаривался. Голова лежала в траве тошная. И лицо было в морщинах от избывшей силы, от согнувшейся замолкшей души.

— Мертвый я, — подумал Яким. — Смерть идет от девки. В тишине и жизни, без людей, с одной душой буду жить.

Шла Глашка покойная. Низко шел месяц, и ручей шелестел.

— Милый мой!

Но Яким был не только милый, а незнаемо кто. И разговорилась Глашкина душа. Весь белый свет был мил и разговорчив. Пропал Яким из лесу навеки.

Ходит Глашка — и не ищет Якима, а так. Запечатленный в плоти — не потеряется. А уж три раза рожалась рожь. И сосна, где стояла Глашка и видела неторопливого Якима, подросла.

Иван ждал мать на кургане. А мать не торопилась.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

описывающая разные истории с Ваняткой

Целыми месяцами сидел Ванятка на кургане том. Только на ночь уводила его мать в братову хату.

Днем же опять шел Иван Копчиков на старое место. В ковыль ложился. Питали его пастухи. Из жалости. Они позволяли ему сосать дойных коров, давали ломоть хлеба.

Потянет-потянет Иван молока из коровьего вымени, а потом заест молоко хлебом.

В четыре года мог уж Иван Копчиков удерживать корову за хвост, ежели она думала убежать от него и не давала себя сосать. Такая у него сила появилась расчудесная.

И хитрость у Ивана прибывала ежечасно. И ум прибавлялся с каждым днем. Стал Иван пастушить, когда ему сравнялось пять лет. Да так хорошо пастушил, что одно удивление. Коровы приходили домой сытыми по горло и веселыми. Молока давали пропасть.

Кормил их Иван Копчиков так. Сначала в солончаки погонит. А потом, когда коровы соли много употребят, гонит их в степь. Трава утренняя в степи потная, мокрая. Коровы ее и

уничтожают до тех пор, пока не напьются росой. А сколько им росы-то надо, чтобы напиться? Много! Оттого и сытость у них непомерная.

Далеко полетела по деревням слава о пятилетнем пастухе. И приходили к нему многие. И он обучал их пастушьему искусству.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

доказывающая, что дело не в летах

Шесть коротких лет прожил Иван Копчиков на земле. Но уже стало ему скучно и тесно в родной Сурже. Он бросил свое стадо и темной бурной ночью, в грозу, вылез из хаты в окошко и потихоньку пошел себе, куда глаза глядят.

Молния пахала небо. Гром был над землей. Иван не боялся. Он все шел и шел. И дошел до лесу. Сел на пенек около оврага и задумался об своем.

Вдруг небо расколосось на двое, точно человеческий череп. Ослепительный синеватый шар трахнул из туч, в овраг. С оглушительным треском в щепки разлетелся столетний дуб. Иван наклонился и посмотрел вниз. Там, на самом дне оврага, что-то горело. Но горело что-то живое: огонь бегал, кружился и скакал.

Иван быстро спустился вниз. Вернее — он скатился туда кубарем.

По дну оврага метался горящий волк. Он прыгал вверх, падал на спину, терся боками о землю, зарывался в нее головой, но шерсть его продолжала гореть. И от него загорелась уже сухая трава, а местами и сухой валежник.

Иван сказал:

— Молния зажгла волка. Волк знает, как ее тушить — землей. Ага.

И, выждав удобный момент, Иван Копчиков дубинкой стукнул по волчьей голове. Волк завертелся на одном месте, лязгнул зубами и вытянулся.

Тогда Иван быстро-быстро начал засыпать его сырой землей. Огонь сразу потух. Волк тяжело раздувал бока и хрипел, дрыгал ногами.

— Жив будешь, — сказал Иван и полез наверх. Стало тихо в лесу. Гроза прошла как-то сразу. Капал крупный дождь.

Иван пошел быстро. Скоро утро — на Сурже голосили петухи. В пруду квакали лягушата хором. Хорошо. Но кто еще там? Кто это раздвигает кусты сзади? Кто это идет за Иваном?

Иван подождал чуточку.

Обгорелый волк, пошатываясь, подбежал к нему, лизнул его в ногу и лег около.

— Волк, — удивился Иван, — какой ты есть, а? Почему ты меня узнал?

Волк лизал ему ноги.

— Ну что ж. Ежели ты умный, идем со мной.

И они двинулись на Суржу, вместе. Впереди шел Иван, а сзади пошатывался волк.

Дома Иван влез в окно, а волк лег на завалинку и, как собачонка, свернулся калачиком.

Скоро оба заснули.

Утром на Сурже случился с волком казус: бабы бежали от него опрометью, орали:

— Черт, черт, оборотень!

Иван тогда гладил волка по губам наскзал громко:

— Чего вы, дуры, испугались. Это мой друг — волк, а не черт.

ГЛАВА ПЯТАЯ

из коей очевидно, что слово было когда-то душою, а буква — очертанием зверя

— Сколь разумно бытие? — спросил сам у себя единожды Савва Агапчиков и задумался.

Шел пост. Тлея заунывно снег в полях. Не тоска, а хуже — какая-то едрена палка воткнулась в душу и коловращалась там живою сукой.

Саввушка (так именовали его бабы, которые еще были во страстях, — ибо Саввушка был мужик сдобный и мордой милостивый), так вот, Саввушка стал чахнуть:

— Сколь разумно бытие?

Бросил пахать Савва, не велик дар — хлеб, когда душа-ссохлась.

Залез в лебеду и в последний раз задумался: откуда все?

И умер там Савва — в лебеде. Старая усталая голова, иссосанная работой, нуждой, долгой жизнью с женщиной, не надулась в стальной мускул и не рассекла тайну — мучения жизни. А вылезать Савва не пожелал: раз мне ничего не известно — ничему доверить гроша не могу, не токмо себя. Прощевайте!

И умер Савва — милостивый мужичок. А в Сурже, как бы невзначай, не посреди людей, а помимо их, за околицей, на кургане, под немым месяцем рос, поспешая, Иван Копчиков.

Рос враз и без попечения — самогоном. Гонит неведомая сила рысью ввысь и в ширку. Успевай, мать, дырки и прорвы штопать на рубахе. Благо, одна она.

Десять лет минуло, как Яким уморился от Глашки в лесу. Петр два раза крышу перекрыл. Овраг подступил к самой Сурже. Филька Жигун утоп в Дону и пропал пропадом. Должно, пузырь в животе не лопнул. Только солнце осыпалось жаром, как всегда.

Прислушался Иван к словам. Шипят, поют, ноют жужелицей, ласкаются и жмут ухо.

— Чистые мыши, живые звери, травы, ветры, влага либо сон и голод. У всякой душевной силы есть свое слово, и оно то ласково, как женщина, то грозно и знойно, то глухо и смутно, как нищий — немтырь или деревенский колотушечник.

Есть слова липкие, горячие, как девкины губы, как бессонная августовская ночь, когда пынешь силой-жаром, а сам одинок.

Ходил по полю Иван и бурчал:

— Рожается рожь... Топают копытами и капает пот. Плели лапти и латали, за скулою лопотали, языки все растоптали... Щука в море, мертвец в гробе, сыч в лесе, глист в пузе...

Таким ходом шла голова Ивана, и он припечатывал сущие вещи именами.

Слово — это ведь сокращенная и ускоренная жизнь. Если чуешь жизнь, то слово найдется сразу для каждого ее дыхания. И это слово будет то, которое уже имеют люди, и твое новое слово и старое совпадут, ибо и тот человек, кто вскрикнул от надавившей на него жизни словом, был могуч. Переполнен и один, окруженный ветром, как Иван, с его внезапными стоячими глазами.

Слово, как душа, стукнувшаяся об стену и зазвеневшая. И звенит каждый раз, особо, как когда ударится.

И по песне своей слово похоже на душу, и по тому, как рисуется на бумаге.

Так обдумывал жизнь, душу и слово Иван. И было ему хорошо и твердо. В теле билось полное сердце. Мозг скрежетал мыслями и высекал искры единственной правды.

Тихо и тепло жить в мире и не страшно. Жук похож на букву Ж. Цвет, звезда, сердце. Это нежные, целуемые человеком вещи-слова, и слышно касание губ человека, и виден тут блеск и сияние души.

Сила человека — в сохранении и повторении несчетно раз души в слове.

— Вот что надо взять в мире, — думал Иван. — Мужики делают хлеб. Бабы ребяты. Плотники дома. А я буду делать хорошие души из рассыпанных потерянных слов. Я слеплю швец сначала.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

очень коротая, но нужная

Думал Иван о словах: почему овраг называется оврагом? И додумался. Потому, что он землю у мужиков отымает. Каждый год по весне и осенью рушатся края оврагов и пропадает земля, которая могла бы родить хлебушек. Вот увидел это первый человек и вскрикнул в гневе:

— О враг ты наш!

Овраг — враг мужиков.

Врага — надо уничтожить. Иван Копчиков сказал мужикам:

— Скоро Суржа в овраг сползет, поняли?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

повествующая о том, как овраг родил деньги

Сказал, значит, Иван Копчиков мужичкам:

— Слопает овраг нашу Суржу.

А мужики — какой народ-то? Почесал кое-где пятерней:

— Авось не слопает. А слопает — так это ж не скоро.

Привык мужик после драки кулаками махать. Иван Копчиков не таков, хоть и десять лет ему от роду. Он взял и на своем участке обсадил овраг поперек рядами красной лозины и шелюгой. А чтобы скотина ее не шкодила, приказал своему другу-волку жить в овраге и стеречь. Через три года родил овраг Ивану Копчикову денежки. Лозина — она хлесткая, растет в год по аршину. Так и прет во все стороны кустищами. Хорошая лозина, гибкая, чисто восковая свеча.

И овраг перестал на Ивановом участке оползать, пророс травой. Три с половиной воза накосил Иван сена в овраге.

А как заосеняло, Иван залез в овраг и давай вместе с волком пряменькие хворостинки подкашивать. Иван — ножичком, а волк — зубом: зуб у волка — бритва. Мужики смеялись:

— Садил, садил, а теперь — изничтожает! Вот дурак!

Смолчал Иван: не любил он много слов говорить зазря, делал свое дело. Из хворостин понаплел сундуков и корзинок целую гору. Продал их в городе за четвертной все. Родил овраг денежки. Тут мужики за ум взялись:

— Ах, дьявол. Мальчонке тринадцать годов, а он умней нас оказался.

Однава выбрала Суржа денек подходящей да свободный и засадила весь как есть овраг, по примеру Ивана.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

в коей орудует неведомый гнида

Появилось в теле у Ивана как бы жжение и чесотка. Сна нету, есть не охота. Жара в животе до горла. Хочется как бы пасть волку разорвать либо яму руками выкопать в глубину до земного жара.

Иван уже знал, что в могиле тепло, а в глубоких землянках рыбаки жмут и зимой у самого льда.

Бьется в тесном теле комками горячая крутая кровь, а работы подходящей нету. Думы все Иван передумал, дела произвел. Хату Петру починил, плетни оправил, баклажаны сполол — все, как следует быть.

Сидит Иван вечерами и ночами на завалинке. Сверчки поют. В пруде басом кто-то не спеша попеваает и попеваает, как запертый бык.

Радость внутри сердца Ивана кто-то держит на тонкой веревочке и не пускает наружу.

— Тебе б к бабе пора, — говаривал Мартын Ипполитович, сапожник-сосед, мудрое в селе лицо, — взял бы девку какую попрочней, сходил бы в лес с ней — и отживел. А то мошей так и будешь.

А Иван совсем ошалел. Мартын же иногда давал ему направление:

— Аtdжюдджурил бы какую-нибудь лярву — оно и спало бы. Пра говорю!

И шел раз Иван по просеке в лесу. Ночная муть налезала на всю землю. В воздухе почти невидимо было и запахло хлебной коркой.

И идут сзади вслед торопкие и легчайшие чьи-то ноги. Иван обождал. Подошла, не взглянула и прошла Наташа, суржинская девка. И видел, и не видел ее ранее Иван — не помнил.

В голове и в волосах и в теле ее была какая-то милость и жалость. Голос ее должен быть ласковый и медленный. Скажет — и между словами пройдет душа, и эту душу слышишь, как слово.

И в Ивановом теле сорвалась с веревочки радость и выплыла наружу слезами. Наташа ушла, и Иван пошел.

На деревне — тишина. Из сердца Ивана поползли комарики — и точат, и жгут тело, и сна не дают.

Шли дни, как пряжу баба наматывала. Живешь, как на печке сидишь, и поглядываешь на бабу — длинен день, когда душа велика. Бесконечна жизнь, когда скорбь, как сор по просу, по душе разрастается.

Простоволосые ходили мужики. Чадом пошла по деревне некая болезнь. Тоскуют и скорбят, как парни в мобилизацию, все мужики. Баб кличут уважительными именами:

— Феклуша, дескать, Марьюшка, Афросиньюшка, Аксинь Захаровна!

Благолепное наступило время.

Посиживал Иван с Наташей и говорил ей, что от них по деревне мор любовный пошел. От одного сердца вспыхнули и засияли сердца всех. Завелась у Ивана в теле от Наташи как бы гнида или блоха, выпрыгнула прочь и заразила всех мужиков и баб.

Но гниды эти невидимы и их нельзя перелущить ни на ногте, ни на камне.

Пускай прыгают они по всему белому свету — и будет тогда светопреставление.

Тихо ласкали по деревне люди друг-друга. Но от этих ласк не было ни детей, ни истомы, а только радость и жарко работалось.

Приезжал доктор — из волости, — освидетельствовал некоторых и сказал:

— История странная, но вселенная велика и чудесна — и все возможно. Мы, как Ньютон* еще сказал, живем на берегу великого океана пространств и времени и ищем разноцветные камушки... И эта бацилла аморе** — только самый редкий и чудесный камушек, которого еще никто никогда не находил...

* Ньютон — великий ученый и мыслитель. Родился в Англии.

** Доктор говорит по-ученому, по-русски это значит — любовь. (Примечания автора).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ясно намекающая на новые затея Ивана

Роса паршивая упадет на лист и — ну пошла по листу ржавость и паскудство. Так и слова докторовы о любовной вши пали Ивану на душу. Едят душу, паскудят. Хочется Ивану вшу эту любовную доитить, доглядеть. А она — невидимая. И почал Иван Копчиков ржаветь, что лист от дурной росы. Конопатый стал — яко росный огурец. Вся его миловидность — вроде картинки на солнце выцвела.

Вспомнил Иван курган любимый. Опять на него переселился. Просидел под небом, как под крышей, все лето — хватать за голову, а на голове воловья, что твоя сторновка. Сухие и ломаются.

— Чудасия!

Глядь-поглядь: во все стороны черно, как в трубе от сажи. Степь черная, как кошка. Не заметил Иван Копчиков, как солнце засушливое обглодало дочиста землю. Оно-то и волосья его в сено превратило.

Сразу тут забыл Иван о любовной вши. Всегда так: коли жрать нечего, не токмо о любовной, а и портошной вши забудешь!

Трижды сплюнул Иван в одно место. Нету слюны: в один миг в землю ушла.

Погрозил Иван кулачищем своим паучищу проклятому — огневому солнышку.

— Я ж тебе, чертушка, подложу свинью. Боле тебе нами не властвовать. Доконаю, подчиню тебя нашей воле.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

где сверкуляющая небесная сила обретается Иваном
и замордовывается в работу навеки

Потянулась опять тщедушная жизнь, как щи. Живешь-живешь, а жизнью все не налопаешься. Плохо без гниды любви, как без мяса обедать.

Пустынничеством стала земля, ибо свирепело и дулось жаром солнце, будто забеременело новым белым огнем невероятной злобы.

А по полям только шершавый терпеливый жухляк трепыхался, да змеи в горячем песке клали длинные пропадающие страшные следы. Змея, она непохожа ни на одного зверя, она сама по себе, немая и жуткая тварь. Змея не любит ничего, — кроме солнца, песка, безлюдья. Как в печке, сгорели посевы и с ними — жизнь. Тела мужиков обтощали — и не только вшам любви, но и худощавым плоскушкам еды не хватало.

Ни тучки, ни облака, ни ветра. Один белый огонь цельный день, а по ночам медленно-текучие оглядывающиеся звезды.

Тишина во всем мире, потому что подступала смерть. Иван переменялся. Высокий стал сухощавый парень, с терпеливыми стоячими глазами. Пушиться стало лицо и полосоваться бичами дум.

И вот уже в августе месяце трое суток то наступала, то отступала и дробилась зноем тяжкая туча. Разнесло ее во все небо.

— Не к добру, — говорили старики, — из такой не вода, камни полетят.

Вышел в поле Иван и ждал. Ни души. Птица, зверь и всякое насекомое исчезло и утаилось.

Насела туча, темнее подземных недр. Но ни капли, ни звука из нее.

Ждал до вечера Иван — не шелохнется туча. И только в полдень осенила, ослепила небо и землю сплошная белая молния, зажгла Суржу и травы, и леса окрест. И ударил гром

такой, что люди попадали и завывали и звери прибежали из лесу к избам мужиков, а змеи торцом пошли в глубь нор и выпустили сразу весь яд свой.

И полетели сразу вслед за молнией на землю глыбы льда и сокрушили все живое и раздробили в куски мертвое.

Упал Иван шибче льдины в лог и уткнулся в пещеру, где рыли песок в более благопристойное время.

За ледобоем вдарил сверху ревущий, скрежещущий, рвущий в тряпки пустую землю водяной потоп.

И синее пламя молнией остановилось в небе, только содрогалось, как куски рассеченной хворостиной змеи.

И вода пошла из тучи сплошным твердым потоком — дышать нечем. Рвет и гнетет свистящий и секущий все на свете ливень.

И за каждым громовым ударом — новым свирепеющим вихрем несется вода, и, как стальным огромным сверлом, разворачивает землю до недр, и почву пускает в овраги бурными волнами...

К вечеру стих мало-помалу водяной ураган. Вылез Иван наружу. Холодно стало. Внизу по оврагу еще неслась вода. А по откосу, где был в пещерке Иван, только толь и вывороченная разрушенная земля.

Выбрался Иван наверх, глянул. Не было ни Суржи, ни леса, ни полей. Чернели глыбы пораженной земли, и шипела вода по низинам.

Задумался Иван. Лед и ливень рухнули вниз, когда засияли молнии. До того туча шла мертвой.

И пошел Иван прямо к Власу Константинычу — волостному доктору, тому самому, который вошь любви обследовал.

Влас Константиныч любил книги. Жил без жены и существовал лишь для питания природы.

Влас Константиныч любил всех суржинских. Пришел к нему Иван и говорит:

— Дождь от молнии пошел, а не от тучи.

— Как тебе сказать, — ответил доктор, — электричество связывает в воздухе пары воды в тучи, а когда бывает молния, то есть электрический разряд или рассеяние электричества — эта связка воды рвется, и вода сама собой падает на землю.

— А эти пары воды всегда есть в воздухе — и до дождя и когда жарко? — спросил Ваня.

— Всегда, дружок, и всюду, — сказал Влас Константиныч.

— А электричество самому сделать можно?

— Можно... — И доктор показал Ивану баночку на окне, из которой шла вонь.

— Дайте ее мне совсем, — попросил Иван.

— Что ж. Возьми. Это штука дешевая. А зачем она тебе?

— А так, поглядеть. Я принесу ее скоро.

— Ну-ну. Бери, бери.

Иван ушел к рыбакам на Дон. Ибо Суржу, и всю родню, все дома задолбил ливень.

Он понял одно, что электричество собирает в воздухе влагу всякую и скручивает ее в тучи.

— А когда бывает засуха, значит, можно все ж таки наскрести влагу электричеством и обмочить ею корни.

Когда просохла после потопа земля, Иван стал добиваться, как сделать влагу электричеством.

Жил он в землянке у Еремея, старикам посвятившего от одиночества и от природы, и ел подлещиков, голавлей, сомов и картошку.

Зной опять водворился. Все повысохло. Запылала и заныла земля.

На всякие штуки пробовал банку Иван — ничего не выходит. И только когда догадался он проволочку от винтика на баночке, где стояла черточка, расщепить на тонкие волосочки, и эти волосочки прикрепить к корням травы — тогда дело вышло. А другую проволоку, где на винтике стоял крестик, он протянул по длинному шесту вверх, а шест воткнул и поставил. Тогда трава, куда впустил Иван медные волоски, зазеленела и ожила, а кругом осталась одна мертвая гарь. Иван поковырял землю, добрался до корешков, пощупал — сыровато. Стало быть, помиримся теперь с солнцем.

Что ж такое электричество и отчего увлажняется от него корень?

Только через десять лет, в Америке, Иван постиг, что такое электричество и как построено и строится из него наш мир и вся вселенная.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Бессмертная трудовая сила выпирает опять из могил и нищеты

Вдрызг, в чернозем, сбита и перемешана Суржа. Только кирпичи от печек остались да одна курица в нору какую-то каменную забила и теперь отживела и ходит беспутная.

Ни единой живой души — льдины с неба покололи все мужиковские головы. Но через десять дней обнаружился еще Кондратий — мужик неработающий и бродяга. Бывал ранее на шахтах, а теперь жил при брате скотом.

— Я, — говорит, — буду управителем русской нации. И пахать тебе не буду.

И вот теперь он обнаружился — в печке просидел и вылез невредим. Поглядел-поглядел на курицу Кондратий.

— Что ты голову мне морочишь, скорбь на земле разводишь? Кабы б две хоть, а то одна, сука!

Поймал, защебил ее за шею и оторвал ей курью башку.

— Тварь натуральная, тебя и смерть не брала... — И переменялся душой Кондратий.

— Бреешь, человека не закопаешь. Тыщи лет великие жили...

И стал жилище себе обделывать из разных кусков и оборок расшибленной Суржи.

Получилась некая хата.

Пришла одна суржинская девка из города. Вдарилась оземь.

— Родные мои матушки... Не хотели жить, мои милые. — И пошла и пошла.

Подошел к ней Кондратий.

— Не вой, девка. Видишь, народонаселения никакого нету... Стало быть, я тебе буду супругом. И обнял ее в зачет будущего — для начала. Через некоторую продолжительность явился в Суржу с Дона и Иван Копчиков. Принялись они втроем за вторую хату.

Иван работал, как колдун, и построил сразу еще две хаты. У девки уже к зиме живот распух.

— Нация опять размножится, — говорил Кондратий.

— Надо другую нацию родить, — сказал Иван, — какой не было на свете. Старая нация не нужна.

Иван задумался о новой нации, которая выйдет из девкиного живота.

— Надо сделать новую Суржу — старая только людей томила и хлебом даже не кормила.

— Будет новая Суржа. — Так порешили Иван и Кондрат. Будет Суржа — без голода. Без болезней, без горестей, без драк.

— Мирносимое благолепие будет, — сказал Кондрат.

— Сделаем мы хозяйство по-новому, тогда вырастут у тебя другие дети сами собой, — проговорил с растяжкой Иван.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

наводящая на размышления о том, что один в поле — не воин

Вот уж почти и вылакало солнце вчистую ручеек последний. Конец приходит, без воды не проживешь. А кругом во все стороны на сто верст голо и никого нет.

Кондрат, Иван и баба, две коровенки и волк — на земле, рассвирепевшее солнце — на небе. Кто кого? Ужли человекам так-таки не выдюжить?

Губы у Ивана — как с жару потрескавшаяся дорога: во рту — засуха другой день.

Деревянными палатами день и ночь лезут люди в глубь земли к мокрому ее сердцу. День и ночь, без передышки наперегонки со смертью.

Либо успеют люди — доскребутся полумертвыми до воды, либо — смерть успеет: придушит, как бабочку, их задыхающиеся сердца.

На пятую ночь Кондрат еле вылез из колодца, дополз на карачках до хаты, приказывает бабе, собиравшейся опростать живот:

— Брось родить, женщина: некогда родить теперя. Лезь в колодец, скребись к воде, пока не умрешь!

И женщина полезла.

И еще три дня и три ночи были люди кротами: руками, окровавленными вдрызг, грабастали землю. Только к утру четвертого дня уже умирающий Иван Копчиков почувствовал, что под рукой мокро. Сначала он думал, что это — кровь у него хлынула из горла, так же, как вчера хлынула она у Кондрата. Но кровь — горячая и соленая, а это — то, что под руками, — студеное и горьковатое чуточку.

— Кондратушка, вода, никак! — прохрипел Иван, жадно набивая рот сразу пожижевшей грязью.

Кондрат, как угорелый, подпрыгнул вверх и шлепнулся лицом в землю. Лицо уткнулось в холодную грязь... Потрескавшимися губами он начал высасывать из нее скудную влагу. Но влаги было слишком мало.

— Ло...па...той бы раз один ковырнуть, — еле выговорил Кондрат.

Но ни у кого из мужиков не было для этого силы. А баба совсем умирала — из нее лез новый человек. Неминучая смерть поджидала его. Он все-таки лез. И баба визжала, как убиваемая сука, и грызла зубами камушки.

Тогда Иван вспомнил солнце, которого из колодца не видно было. Вспомнил, что солнце хохотать будет над ними — побежденными.

— Не-эт, брешешь, не сдамся! — дико заорал он и, собравшись с силами, налег на лопатку. Раз, другой, пятый.

И спасение пришло. Перед смертью — ухо человека слышит все. И вот услышал Иван, как засочилась в ямку тихая вода.

Тут шлепнулось к ним что-то мягкое сверху. Иван поднес это что-то к глазам. Это был — заяц. Волк принес зайца умиравшим друзьям. Волк спасал спасшего его Ивана.

Два дня люди пили горькую воду и жрали все, что им приносил волк. Силы снова пришли к ним, и люди вылезли наружу. Первое, что они увидели, — был сдыхавший от жажды волк. Иван, плача, привязал его на веревку и спустил в колодец:

— Отдышись, милачок!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

в коей босота собирается Иваном в большевицкую нацию

— Народонаселения нету. Одним с солнцепеком нам не смордоваться... Баба моя народить нацию не управится. Надобно теперь сюды людвы понагнать... Хоть самую дырь на дырьве, было б в норме все — головы и руки... — Это Кондрат думу надумал.

А Иван давно догадался. Взял лыдку дохлой коровы у Кондрата, кликнул волка и пошел ходом.

Ден через пять пошли местности народонаселенные. Попадались по дороге уже попы, куры, травы, густолиственные деревья и прочие жители земли.

Попал Иван в деревню Меренячевку. Идет по улице с волком. Тот собак шелушит до костей молчком.

Видит, сидит у колодца странник. Парень, видать, не особо пожилой, а разглодан голодом до души — одни глаза неистовые сверкают и ищут.

— Подходи сюда, горюн, — крикнул Иван.

— Ходи сам, если надобно, — прошершавил расколотыми истекающими губами парень.

Иван подошел.

— Здорово.

— Здравствуешь.

— Што сидишь-то?

— А ты што за юзь? Хошь что говорить — балакай, не разводи зря скорбь.

— Со мной хозяйствовать пойдешь, аль нет?

— А куда иттить-то? Земля есть?

— Земли много. Ледобой людей выбил. Слыхал?

— Слыхивал. А скотина есть?

— Покуда волк один, а там видно будет.

— Оно и волк гожд, ежели зверь толковый.

— А ты один?

— То-то и скорбь, что не один я. В логу — вон, видишь лозняк? — товарищи некоторые ждуть... Деревню эту грабануть мы схотели... Похилить... Запомнил? Ну, помалкивай... Народ тут стерва... Хутора кругом, люди с коготьями. Запалим вот к ночи с того краю... И ты теперь не уйдешь — долбанем.

— А много у тебя народу-то? — спросил Иван.

— Людей двадцать будет.

— Откуда шли-то?

— С Кубани самой дороги крестили. Было, сдохли в отделку. Теперича на корм напали.

— Вот што, — проговорил Иван, — ты брось это. Волоки сюда всех людей. Поговорим в конец. Будя, с этого прожитку не наешься.

— Ты помалкивай, пока дых еще двоишь, а то стукну, в колодец чертометом загудишь.

— Ты не устрашай меня, я сам страшный. Я тебе дело говорю, а ты слова одни пущаешь.

Пошли до людей до твоих.

Парень глянул на Ивана: губы — нитки, глаза сияют в черной кайме, телес нету — одна кость, такой сам атаманом был.

— Ну, идем, бабья страсть...

Вышли за деревню. Спустились в лога. Долго блуждали. Тонкой глоткой, длинно порысьи завизжал парень, аж у Ивана сердце отозвалось и заверещало.

Вышла из логов человечья хмурь и горесть. Один другого тощее и жиже. Но злоба и силушка есть еще.

Обсели Ивана они с парнем — вожаком.

Иван им так и так. Что это за жизнь, за тоска такая. Радость можно руками произвести, а вы людей шуровать задумали.

Солнце огромно, жар в нем есть, земли много, воду под землей раскопаем. Вот и будет жизнь. Мирно и богато заживем.

Долго разжевывали бродяги. Ругались и дрались, одному душу вышибли.

К вечеру сошлись с Иваном.

— Идем, волчий брат... Гляди только, если што — душа вон — и слезу не пустишь.

Между бродячими была одна девка. Глаза смородиновые и пугливые, как будто кто размахнулся над ними, волосья ливнем лили с головы на плечи.

Она молчала всю дорогу, молчала и когда дрались бродяги, и не взглянула на Ивана, молча со всеми и с ним пошла.

— Видал царицу, — сказал вожак Ивану, — с самого Каспия ведем и бережем, как невесту. Одно у нас имущество.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

22 мужчины, 2 женщины и 1 волк

Было на Сурже 22 мужчины, 2 женщины и 1 волк. Кроме того, было еще 3 хаты и 1 мальчонка-сосунок, Кондратовой женой произведенный. Больше ничего. Иван Копчиков собрал в кучу всех:

— Вот чего, братцы, — объявляю я себя предводителем всей нашей нации. И которые мне не подчинятся, пускай в лес уходят — волк дорогу укажет. Без предводителя галки и то не летают... Вдомек? Предводитель бродяг хмыкнул и нагнулся было за голышом, но волк заметил его движение и так лязгнул зубами перед самым носом бродяжьего предводителя, что тот шлепнулся назад и сказал Ивану:

— Волк твой, брат, — стерва: совладать с волком невозможно подтощавшему человеку, я же подчиняюсь. Действуй.

С этой поры Иван начал командовать.

Прежде всего, работая по 15 часов в сутки, 22 мужчины разрыли Суржу, вогнанную ледобоем в землю. От этого они получили достаточное количество предметов обихода: лопат, плугов и прочего, бабам — чугунов, рогачей и прочего. Нашли пять икон в серебряных ризах — богатея Сусликова. Сорвали серебро с них, досками растопили печку.

Затем артель до иступления рыла землю лопатами, пахала ее плугом (вместо лошади пять мужчин), засевала озимой пшеницею, рожью, которую собрала под Суржей и отсортировала по единому зернышку вся артель.

Покончив с озимью, Иван согнал артель в лес — на охоту. Силками, самодельными капканами, просто дубинками с помощью ретивого волка изо дня в день колушпатели люди разное звериное людство и птиц.

Однажды, возвращаясь на Суржу, люди увидели впереди какую-то барахтающуюся кучу. Опрометью побежали они к куче. То оказалось два волка: их и еще другой — молодой и сильный, Суржинский волк бил молодого волка, а тот, увидев людей, лег на спину и заплакал. Люди взяли его за шиворот, поднесли к своим глазам и долго его разглядывали, глядя по искусанным бокам. А когда опустили на землю и пошли своей дорогой, волк взвизгнул и побежал за ними.

Это дало Ивану мысль. Через месяц, к началу зимы Суржа имела уже двадцать два волка под командой Горелого — первого суржинского волка.

Горелый сумел их смирить, а Иван Копчиков окончательно покориł их людям своими ласковыми поглаживающими по шерсти, взглядами своими властными. Люди сделали сани и сбрую.

Как только установился хороший зимний путь, Иван Копчиков запряг в сани двенадцать волков, уложил в них серебро с икон, сто сорок две шкуры лисиц и кое-какую дичь, посадил в задок Каспийскую невесту, молчаливую, сел сам на передок и свистнул. Горелый, запряженный позади всех волков, в ответ на этот свист лязгнул зубами так, что волки хватили в рысь.

Из города Иван привез на волках целую прорву хороших вещей: одежду всем зимнюю и обувь, ружей штук пять и зарядов, котлы какие-то с трубами. И много еще. А через сутки приехала на Суржу и Каспийская невеста — одна в санях, запряженных белой лошадкой. Она

привезла какой-то огромный ящик. Не раскрывая его, поставили в хату, и больше Иван не приказал его трогать. Мужики наутро спросили:

— Котел зачем? Самогон гнать? Иван ухмыльнулся, приказал им взять топоры и другие плотницкие инструменты и валить в лес. Через три недели в лесу задымил маленький смолокурный завод:

— К весне с деньгами будем, — сказал Иван, когда наполнилась пахучей смолой первая бочка.

Кроме смолокурного, устроили лесопилку: лошадь вертела колесо, колесо бешено вертело круглую пилу, доски росли сотнями в день.

Люди были веселыми, пели песни и работали даже ночью.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

где мир оказался братом человеку-бродяге

Вот и весна. Сердце в Иване шумит, как ветер на пустой земле.

Шумит сердце и в Каспийской невесте. Бродит она и слушает свои мысли, которые родились от дрожи солнечных лучей в занебесном пространстве.

Глядит на нее Иван, как слушает сказку. Как бы опять вошь любви не завелась в разбухающем весеннем теле.

У Каспийской невесты было лунное тело — бледное, твердое и спокойное, как немое сияние полночной хлебной луны.

Бродяжья братия жила дружно — в одну душу. Действовала вместе, как одна рука.

Иван уже чуял наступление солнца. Его ревушая пламенная пасть уже уперлась в землю, чтобы через неделю в пожар превратить зеленую жизнь.

— Миру нет дела до людей, — подумал Иван, — зато нам есть дело до мира. Надо найти у мира голову и треснуть по ней чем-нибудь тяжким. Мыслью, к примеру, превращенной в машину.

Но думать не хватало хлеба. Времена уходили. Земля уже гудела в солнечном пожаре.

Вскочил раз Иван ночью. В голове будто у него вспыхнуло сияние, и тоска потопила сердце. В жилах пошел зуд и горение задыхающейся силы. Разбудил всех Иван мигом.

— В лес! Ветрогон строить! Воду качать будем... Проса уже погорели. Подохнем с голоду. Опять на Каспий плыть придется, невест усматривать...

И вот большевицкая нация таскала бревна, пилила доски, сбивала и крепила башенную деревянную снасть.

Иван стоял молча, обдумывал и показывал — он был за инженера.

И росла против солнца деревянная башня под горячими руками одиноких во враждебном мире людей, спаянных вместе несчастьем и угрозой солнца.

А Каспийская невеста сидела на бугре возле и слушала солнце.

К вечеру Иван стал уже тесать тонкие доски и прилаживать их на скелеты крыльев-мотовил. Долго щурил глаза Иван, ладил и считал.

— Ветер должен работать косым ударом — тогда сила будет огромная.

Ночью поели большевики волчатины и засопели во все отверзстые дыры в своих телах.

На другой день взялись за изготовку двух валов и большого деревянного штопора, который будет угнетать воду и гнать ее ввысь.

Невеста стояла молчком тут же и не глядела на работающих своих сожителей по земле.

Еще прошел день и еще два. Солнце гроыхало и выедало землю. Усталый земной шар неся в огневом потоке и затихал в смерти.

И вот настал один день. Поднялись люди с полночи и ждали ветра.

После восхода солнца по небу поплыл азиатский накаленный песок — и ветряк взмахнул, заскрежетал и завертелся. Деревянный штопор шуршал в воде и гнал ее кверху. Вода выметывалась наверх, падала в лотки и бежала чистым потоком на огороды.

И на пепельной, смрадной стенающей земле зеленел и ликовал кусок живой земли — и подле него толпились живые, победившие, уморенные люди.

С Каспийской невестой творились великие дела.

Солнечная дрожь рожала в ее голове мысли, и эти мысли вели ее куда, она сама не знала. Она говорила не свои слова, а слова мыслей, которые сделало в ее голове солнце.

Она родилась в далекой стране, чистой и немой. В ней не было ни души, ни страсти, ни похоти, ни желаний.

Она была пустым и чистым кувшином — и туда лилась солнечная сила мира и делала ей и мысли, и душу, и слова. Она говорила чудные, но хорошие слова. Их и Иван не понимал.

Ходила Каспийская невеста, как зачарованная волшебница, и ее волшебная сила обволакивала всех, как тонкий воздух, как туманный свет и цветочная вонь.

И большевики переменялись. Тяжелые большие головы их нагроузились думами и душевной нежной силой.

— Што тут такое? — думал Иван, — ничего не должно быть, кроме мыслей и машин. Какая тайная сила работает внутри невесты и делает ее такой нужной нам.

Иван не любил слова и не сказал, и не надумал даже, что пропади, сгинь невеста — он бы вдарился головой о камень и разможжил ее.

— Через нее мы слушаем мир, — говорил сам с собой Иван, — через нее можно со всем побрататься: быть заодно с солнцем и звездами, и не надо будет ни работы, ни злобы, ни борьбы. Будет везде, что видимо и невидимо, братство. Будет братство звезд, зверей, трав и человека...

А Каспийская невеста жила и слушала песню солнца и звезд, и выговаривала ее невнятно, но чудодейственно.

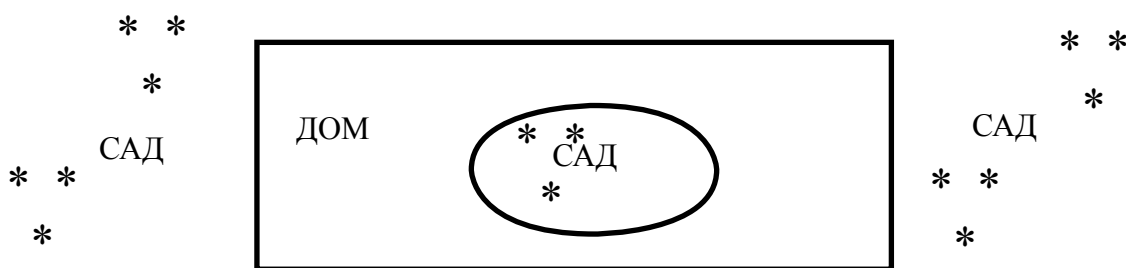
— Я оберну ее к себе, — сказал Иван, — и, как машиной, ею разможжу мир... Вот первая сестра и миру всему и человеку в одно время. Я дознаюсь до ее силы и возобладаю ею сам. Тогда я дам миру тишину и думу... А теперь надо бежать с нею отсюда в города, где книги и мысли.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

в ней Суржа стала селением весьма привлекательным, а Иван с Каспийской невестой отправляются в великое странствие по всему белому свету

Затаил Иван думу глубоко: убегу на широкую землю в великие города.

А в Сурже достраивался уже один большой дом на всех людей. Строился он круглый, кольцом. А в середине сажался сад. И снаружи также кольцом обсаживался дом садом. Так что окна каждой отдельной обители-комнаты выходили в сады. Посмотреть если сверху, то весь дом был вот такой:



Внутри по всему дому шла длинная галерея и соединяла все комнаты.

Много хорошего было внутри дома. Над каждой комнатой на крыше был малый духогончик, который, не переставая, тянул вверх испорченный людьми воздух. И снизу из садов подгонялся благовонный богатый дух, тоже духогонами.

Когда в комнате никого не было, духогоны стояли. Как только входил туда человек и чуть грел воздух, духогоны начинали кружиться, и дурной воздух утекал вверх, а хороший подтекал из садов.

Отопление всего дома шло от одной печи. Горячий дух от печи шел в щели между стенами. Стены были устроены везде двойные — и вот в эти пустые места шел теплый дух, грел сначала стены, а потом и весь дом.

Дом так топили, что никто не замечал, где, как и что топится, откуда идет тепло. Ничего не было видно. А теплота шла равномерно и грела стенами чистый садовый воздух.

Иван, еще перед стройкой дома, велел смачивать все доски, бревна, оболонки и тес особой жидкостью, которую он добыл из особой травы, перегоняя ее в котле.

Доски, промоченные этой жидкостью, делались несгораемыми. Пожар, выходит, был не страшен большевицкому дому.

И дом, и отопление его, и эту жидкость придумал Иван.

— Головешка у парня, — говорили остепенившиеся теперь бродяги, — Каспийскую невесту отдашь — и не додашь.

Суржи не было — был один чудодейственный дом. Для скота был построен такой же дом в стороне, только поменьше. Там тоже были и духогоны, и сады, отопление. Скот держался в такой же великой чистоте и здоровье, как и люди. Потому и скот был ласков, умен и работящ, как люди.

Иван уже подумывал, как бы и лошадей и коров приравнять во всем к людям, поселить в одном доме — и делать всем вместе одну жизнь — ласковую, простую, счастливую и глубокую.

Но до поры отложили это. Бродяги не пожелали.

— Лошадь, — говорили они, — существо с рассудком и телом благодетельное, коровы и волы еще ничего себе, вот козлы — чертячи бельма, вонючи звери...

— Ну, обождем пока. Я дом еще лучше сделаю, тогда всем вместе можно селиться.

Более зверей и людей не будет — будут и близко друг к дружке телесами и душою. Зверь, брат, тоже большевик, но молчит, потому что человек не велит.

Придет время вскоре, заговорят и звери, остепенятся и образумятся... Это дело человека. Он должен сделать людьми все, что дышит и движется. Ибо в кои-то веки он наложил на зверя гнет, а сам перестал быть зверем. Это потому, что еды мало было. Теперча еды хватит на всех, и зверя можно ослобонить и присоединить к человеку... Не дышали бродяги и слушали.

— Да, дело сурьезное...

Иван с раздутыми жилами на большой рубленой голове говорил, не помня себя. Глаза его пропали под черепом, обвелись черной каймой и сияли.

— Знатная голова человечья, настоящая душа, — говорили большевики.

Каспийская невеста тоже слушала и грудь ее качалась, и глаза светились, как незнакомые редкие цветы. Волосы разлились до пояса. И было хорошо всем и тревожно, — непохоже, что это земля, а будто приехали все на иную звезду и позабыли, откуда сами и что к чему.

Ночью Иван лежал на сене и не спал.

В доме, где жил скот, жутко мычала и стонала всей своей двоящейся душой корова — она рожала ребенка.

Иван слушал и думал.

К утру смолкла корова — опорожнилась.

И Иван, успокоенный от дум, заснул.

Днем, когда проснулся Иван, никого в доме не было. Уехали картошку рыть.

Поглядел Иван на дом. Назовем наше поселение Невестой. Суржа — это хмурое семя. Осень, поздний дождь, голод.

И Иван написал мелом на стене: Невеста, устроен новой земной нацией большевиков.

Поглядел Иван на все:

— Если бы ожили все думы, которые я вложил сюда, получился бы вихрь и водопад.

Пришли к вечеру товарищи. Поели и заснули мертвыми. Обошел Иван все обители.

— Живите, братья, сами по себе. Теперь не сгинете... Пошел к Каспийской невесте.

Она не спала.

— Пойдем со мною, — сказал Иван, — я не обижу, я покажу тебя всем. Вся земля очнулась, все люди готовятся к чему-то, чего и я не знаю.

Невеста встала и пошла с ним.

Они оставили дом и пошли полем — в темь, в ночь, в далекие, неслышные отсюда города.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

где встречается странник по прозвищу Мурликийский Чудотворец,
а также чуетя жженая вонь и видятся шина, намазанная липиштреством

Отощали Иван с Каспийской невестой. Оно и не хитро — пять дней прошло, полных скорого шествия, далеко уже лежит поселение во имя невесты — Суржа.

Уже всякая живность стала по дороге попадаться: лошади, мужики, велосипедисты — стало быть, город близок.

Вон завиднелись трубы некие и слышится чей-то ревуший и страшный голос, неумолкающий и невидимый.

И попадися навстречу Ивану и Невесте как бы странник. Вид — божий, но скуля жуют и ходят беспокойно, а глаз единый (другой вышелученный) мудр и печален.

И в руках нет у него бадика, а за спиной — сумки. Будто в гости идет человек. Там поест, помоется и отдохнет.

— Куда, дети, поспешаете? — спросил он.

— В города, — ответил Иван. — А ты куда?

— Я-то? Особо никуда не поспешаю... Сказано было — не ведаешь, где сыщешь, а где утеряешь. Чего же поспешать? Я сыщу, может, там вон, а может здесь. Ходи свободно, а хочешь — сиди. Все едино.

— Чем-то эт завоняло? — спросил Иван. Странник уставился в небо.

— Эт-то? Эт радий несется. Беспременно он.

Ноздри его потемнели и потянули дух в две раздвинутые дыры, полные козявок и невысморканных ночных соплей.

— Жжет дух и несется.

— Какой радий? — спросил Иван, замерев от непонятного.

— Машина такая. Слова горелые, горькие по воздуху пущает.

— Давай послушаем!

— Ей орудует неслышимо — я опухал уж несколько разов. Одна гарь чуется. Аж в глаза лезет вонь жженая... Чуеть?

— Да, — ответил Иван, — будто бы она.

— А это штой-то? Штой-то такое? — Иван крикнул от испуга и показал на человека, похожего на хряка, не спеша ползшего на велосипеде, еле влача вперед свои обвисшие потные, телеса.

— Эт лисапетка, сынок. Штука немаловажная, в городе их много, — так ответил Ивану Мурликийский Чудотворец (так, оказывается, именовали странника).

— А отчего она едет сама?

— Кто? Лисапетка-то? Шины у ней липистричеством намазаны.

Чем ближе к городу, тем громче чей-то каменный глухой голос все пел и напевал одну и ту же густую ровную песнь.

Вошли в город. Дома на краю стоят не особо велики. Мурликийский Чудотворец на время отстал от Ивана и Невесты.

— Вы валите напрямик, а я вправо заберу. Все одно никто не знает, где сыщешь что, а где утеряешь.

Попался один дом. На нем железо висит, а на железе буквы нарисованы. Иван разобрал их каждую в отдельности.

Мадам Тотошкина

Маникур Педикур

Кохты для какеток

И все для блажных

Иван ошалевал. Чудно все и страшно, потому что непонятно. В открытое окно, под вывеской через подоконник сплевывал сапожник, говоря сам себе разные слова по порядку:

— Существо, скотоложество, супремат, смологонь, иллюминация, квась квасцы, не мусоль пальцы, сусаль золото. Существо, супремат. Васька, будь умен!

Иван с Невестой послушали и пошли дальше.

ГЛАВА ОСЬМНАДЦАТАЯ

не особо существенная, но и она пригодится

— Мне пить охота, — сказала Невеста, что с Каспия. — Итти больше мочи нету...

— А меня бекасырики грызут. Надобно в хату зайти какую. Ты попьешь, а я бекасыриков в рубахе полушшу.

Постучали в первую дверь. Вышла старенькая бабушка.

— Вы што ж стучите так? Потихоньку надо...

— Мы нечаяно, — сказал Иван.

— Ну, идите, штоль. Не к стоянью* пришли.

Иван с Невестой прошли сенцы, чулан какой-то и вошли в большую комнату. На полу кругом спали люди сладко и вдосталь, будто они реки рыли и уморились.

— Чего они? — спросил бабушку Иван.

— А устамши позаснули.

— А отчего они уморились?

— Отчего-отчего? Тебе-то што? Наладил!..

Иван с Невестой взяли со стола корчажку с водой и попили водицы.

Спящие похрапывали и во сне жевали мух.

Ивана сразу усталь великая взяла.

Он оглядел комнату. Над дверью, которая вела, должно быть, в другую комнату, висела досточка, и на ней Иван насилу прочел:

Опытно-Исследовательский институт по индивидуальной Антропотехнике.

Тут Иван зевнул, взял за руку Невесту, прилег на лавку и сразу заснул без памяти и без дыхания.

* Есть такое всеобщее бдение, когда читается 12-ть евангелиев, а старые бабушки в кацавечках стоят.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Мастерская прочной плоти

Минула некоторая длительность времени — очнулся Иван. Комната — и он один в ней. Свежий вечерний сумрак в двух больших окнах. Кротость и немость, как в Сурже.

Вошел человек. Сухой, напряженный и злой. Весь — беспокойный, внимательный и трудный, как будто он тяжесть невидимую нес и неслышно хрипел от натуги.

— Ты кто? — спросил Иван. — А Невеста где?

— Я — Прочный Человек, — просто и достойно ответил вошедший. — Пришел тебе объяснить существо некоторых обстоятельств.

Он сел на лавку против кровати и начал высекать слова, необходимые, как сложение, вычитание, помножение, деление.

— Я сидел наверху в комнате из кирпича. Ты шел с девкой: длинные волосы, прочное целомудренное тело. Я думал, а ты и девка перебили мне струю мысли. Я решил вас взять для испытания. А вы сами постучали. И я сказал вниз, чтобы дали порцию малого ремонта, то есть сорокачасовой сон.

Прочный Человек остановился и нахмурился. Видно, много горести и грехов несла его усталая плешивая голова. Иван молчал и ужасался городу, где такие страшные и удивительные люди. И было ему жутко и радостно, как на высоком дереве.

Прочный Человек вытер гноившиеся глаза и заговорил опять.

— Ты мне показался человеком прочным и способным к сопротивлению и бою с миром. Но ты свободен. Можешь вскочить и улететь к чертям. Хочешь — поживи, попробуй. Не хочешь — пропадай, мне падаль не нужна. Сейчас все человечество — падаль.

Прочный Человек в гневе и неистовстве двинул кулаком по лавке, встал и ушел.

Потом сейчас же вернулся, бросил книжку Ивану и скрылся окончательно.

Иван полистал книжку и начал читать.

О постройке нового человека

Всякая цивилизация, то есть материальное устройство жизни человеческого общества, иначе говоря — организация материи* в виде машин, прирученного скота, разведение полезных растений, разумное распределение между людьми хлеба, одежды, жилищ, предоставление возможности каждому расти и развивать свои таланты и все прочее — всякая цивилизация есть следствие целомудрия, хотя бы и неполного. Целомудрие же есть сохранение человеком той внутренней могучей телесной силы, которая идет на производство потомства, обращение этой силы на труд, на изобретение, на создание в человеке способности улучшать то, что есть, или строить то, чего не было.

Цивилизация есть целомудрие. Она есть нищета по отношению к женщине, но тяжкий груз мысли и звездноносная жажда работать и изобретать то, чего не было и не может в природе быть.

Свирепости природы, ее крушения, засухи, потопа, нашествия микробов, невидимые влияния электросферы** — приучили человека к работе, бою, передвижениям по поверхности земли и войнам между собою.

Когда кончались войны и слабела борьба с землею за пищу, то человек возвращался в дом к женщине, но уже он был не тем, каким ушел. Он делается более целомудренным и хоть

* Материя — все, что существует: железо, дерево, ткань, уголь и пр.

** Электросфера — область, где действует электричество, электромагнитные волны. Скоро мы увидим, что электросфера есть вся Вселенная.

и живет с женой, но меньше спит с ней, и глубже пашет. Прочнее и выше строит дома, чаще задумывается, острее видит, искуснее изобретает и приспособливает свои орудия и свой скот к работе.

Но все цивилизации земного шара сделаны людьми только немножко целомудренными.

Теперь наступило время совершенно целомудренного человека, и он создаст великую цивилизацию, он обретает землю и все остальные звезды, он соединит с собой и сделает человеком все видимое и невидимое, он, наконец, время, вечность превратит в силу и переживет и землю, и само время.

Для этого — для прививки человеку целомудрия и развития, отмычки в нем таланта изобретения — я основал науку Антропотехнику*.

Основатели новой цивилизации, работники Коммунизма, борцы с капитализмом и стихиями Вселенной, объединяйтесь вместе и перед борьбой, перед зноем великой страды — испейте из живого родника вечной силы и юности — целомудрия. Иначе вы не победите.

Силою целомудрия перестройте и усильте сначала себя, чтобы перестроить затем мир.

Иван читал и читал. Сердце его шевелилось, и сам он шел странником по городам, по странам, по заросшим садами звездам, по томительным смертным пустыням.

Над городом, над полями, над Суржей, над всею преющей землею шла немая бездыханная ночь, как было спокон веков.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

где Иван с Каспийской невестой оглядывают мастерскую Бессмертной Плоти
и видят как электричество победило смерть

Утром Иван узнал от старушки, которая его сонной водой опоила, что Прочный Человек есть ученый, умом тронутый, а кормит ее хорошо и обращением ласков. Дом этот стоит на краю города. Заманивает сюда ученый разных больных и здоровых и лечит их всех одинаково. И хоть рассудком он сам человек негодящий, больных делает людьми гожими. Это уж что и говорить.

— Так что не пужайся, — сказала бабушка под конец, — дурного он тебе не сделает. Уж што-што, а человек он сердцем милостивый. Уж пожаловаться не могу. Доброхотный человек, что и говорить, батюшка ты мой... Так-то!

Каспийская невеста соскучилась и сама нашла Ивана.

— Уйдем отсюда, — сказала невеста, — страховито тут. Пойдем домой — в Суржу. Скушно мне...

— Обожди маленько... Ученый ихний на нашего Кондрата похож. Доглядим — и пойдем. Беда не велика...

Они вышли в сад. Чаща, глушь, смрадовые цветы, голубые травы росли в нем.

Только сели на землю, глядь: Прочный Человек идет и бормочет сам с собой. Подошел.

— Ага, вы тут обитаете. Пойдемте, я вам мастерскую свою покажу. Потом будем кушать...

Пошли неспеша втроем.

— Вот чего, — сказал Прочный Человек, — у меня тут две мастерские — одна Прочной Плоти, а другая Бессмертной. Прочная Плоть в человеке делается целомудрием, освобожденная же половая сила превращается в таком человеке в талант изобретений.

Только и всего. Это — мастерская маленькая, только подготовительная... А бессмертная плоть уже делается из прочной целомудренной плоти посредством электричества. Вот я вам сейчас покажу, а потом расскажу...

* Значит, искусство строить человека. Антропос по-гречески — значит человек.

Они вошли в дом. Пошли по длинному коридору. Всюду росли деревья и цветы в бочонках, всюду было тихо, двери во все комнаты были закрыты, и только слышался некий зуд и упорный ровный звон.

— Это штой-та ноет? — спросил Иван у ученого.

— Это электромагнитные волны фильтруют, обеззараживают воздух, — ответил ученый, — бессмертные сейчас едят вон в той крайней комнате.

— А отчего они бессмертные? — спросил Иван. — Как же ты сделал? Как же они не умирают?

— А вот увидишь.

Вошли они в помещение, где ели бессмертные. Сидели пять человек — три мужика и две бабы — и ели ложками черную кашу с коровьим маслом. Одеты были в синие балахоны, сидели и чавкали.

— У! — сказал Иван.

— Дурак ты, — отвел Прочный Человек, — суть не в обличий. Они бессмертны и здоровы и терпеливы, как верблюды... Пища, которой они насыщаются сейчас, и воздух, которым они дышат, не содержит ни одного болезнетворного микроба*. Все это обезврежено электромагнитными полями разной частоты волн во времени и разной длины их в пространстве. Понял?

Поевши, бессмертные встали, порычали, погалдели и пошли в большую комнату, что была по-соседству, со стеклянным потолком, резиновым нешуршащим полом и низкими медными красными стенами. Это была механическая мастерская, где бессмертные работали над починкой и сборкой машин ученого. Вся мастерская была уставлена большими станками и точными, тонкими, волосяными неизвестными приборами.

Бессмертные принялись за работу, как звери за жратву. Станки загудели, освирепели, шкивы и маховики готовы были подлететь от скорости, а один маленький станок визжал, блевал пламенем, плясал на фундаменте, корчился от натужения — только что не говорил, но грыз и грыз металл нового прочнейшего сплава и формовал его, как нужно было человеку. А приводной ремень гнал и гнал станок, и нахлестывал, неумолимо и уверенно: вытерпишь, сделаешь, не взбесишься.

Прочно, навечно, втугачку пригоняли и заковывали части механизма одна к другой бессмертные дюжие люди. Сами по себе судили.

И вдруг Иван почувал, как на кожу его сели как бы четыре тысячи мух.

— Я дал комплекс** электромагнитных полей сюда, — сказал доктор, — это у тебя с непривычки. Ничего, ты обтерпишься...

— А лихо берут, мать честная, — сказал Иван, — не начешешься... Невесту тоже корежило. Тело у нее нежное, знамо дело.

— И так все время, всю жизнь в сплошной электросфере живут эти люди, и оттого их смерть не берет, — говорил Ивану ученый.

— Как так — смерть не берет? Отчего? — спросил Иван.

— Да оттого, что усталость, злоба, горе, болезнь, сон, смерть и все, мешающее жить, бывает от особых на каждый случай микробов, которые мигом заводятся в теле и пожирают его. Тело человека яростно борется с этими микробами и разводит в себе против них особых полезных микробов. Но потом все-таки смертные микробы побеждают этих полезных, и человек падает и умирает. Я взял обдумал и подобрал такие электромагнитные волны, каждая из которых убивает какой-нибудь один вид, один род болезнетворных микробов. Одна волна убивает тифозных микробов, другая — тех, от которых бывает усталость, третья — тех, которые поражают сердце и мозг, четвертая — тех, которые заводятся в кишках от гниения остатков пищи, и так далее.

* Микроб — такая невидимая вошь, которая разрушает постепенно тело человека и доводит его до смерти.

** Комплекс — значит сумма, сложение в комок разных электромагнитных полей — в этом случае.

Все мастера смерти — микробы уничтожаются, когда я пускаю пук, комплекс волн, каждая из которых убивает целый ряд вшей, делающих смерть. Смерть тогда некому делать, выходит дело, и человек не умирает никогда.

А та сила, которая боролась раньше внутри человека с микробами — смертоубийцами, та сила освобождается, и человек цветет невероятной мощью тела, великой мыслью. Для восстановления же тела, потраченного в работе, нужно хлеба чуть-чуть.

Жизнь в среде сплошной электросферы, поражающей насмерть все виды смертоносных и болезнетворных микробов в теле человека, — вот что такое бессмертие. Ты все понял?

— А отчего электричество убивает этих вшей? Электричество — это што такое?

— Этого я не знаю и от этого мучаюсь, — ответил ученый.

— Я уйду, подумаю, похожу, разузнаю, и тогда приду к тебе скажу. Ладно?

— Ладно, — сказал ученый, Прочный Человек, — но ты придешь не скоро. Электричество — это суть нашей Вселенной... Я забыл еще тебе сказать, что бессмертные у меня никогда не спят, а один живет уже десять лет, а пришел ко мне умирающим усталым дедом.

Вышли из дома ученого Иван с Каспийской невестой уже под вечер.

Электричество начало мучить Ивана. У него всякая мысль, всякая тайна переходили в чувство и становились горем и тревогой сердца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

о суете несущественной

Город. Што он такое?

Шли-шли люди, великие тыщи, шли по немаловажному делу, утомились, стали на горе — реки текут тихие, вечерет в степи, опустились на землю люди, положили сумки и позаснули, как сурки...

Поднялись и забыли, куда шли, сном изошла тревога, которая вела их по дорогам земли.

Встали, как родились — ничего никому неведомо.

И силу телес люди направили в тщету своего ублаготворения.

Животами оправились и размножились, как моль.

Шел Иван с Каспийской невестой по улице и думал о городах больших и малых.

Играла музыка в высоком доме. Остановился Иван и сердце в нем остановилось. Кто это так плачет и тоскует там так хорошо? У кого голос такой? Если звезды заговорят, то у них только будут такие слова.

Песнь — это теснота душ.

А такой песни Иван еще не слышал. И ему захотелось сделать такое, чего никогда не было. Самому пропеть такую песнь, чтобы люди побросали все дела свои, всех жен своих и все имущество и сбежались слушать, и так заслушались бы, что есть-пить, размножаться и драться позабывали бы.

Постояли-постояли Иван с Невестой и пошли дальше. Потемнело уже. Огни по улицам зажглись и свет их не давал копоты.

Люди толклись кругом, гнала их вперед и назад некая могучая сила.

Повозки неслись по мостовой, а один толстый большой человек сидел на корточках у дома, где должен быть завалинок, и ел землянику-ягоду и кричал и чмокал от ублаготворения.

Иван постучал в дверь соседнего не очень большого и не благовидного дома. Отворила женщина, молодая и благоухающая травами.

— Вы что, дорогие мои?

— Переночевать можно?

— Переночевать?.. Вам негде ночевать? Я не знаю... Вот папа скоро придет... Вы подождите. Входите сюда.

Иван с Невестой вошли. Сели на мягкую скамейку. Кругом — мебель и неизвестные вещи, которые не нужны человеку.

Женщина оказалась девушкой и села читать книжку. Иван спросил ее:

— Ты што читаешь?

— Стихотворения Лермонтова. Вы их читали?

— Нет, — ответил Иван. — Дай-ка я погляжу. Иван полистал и прочел:

В небе ходят без следа
Облаков неуловимых волокнистые стада.

Иван встал на ноги и начал читать. Потом сел, поглядел на всех заплаканными глазами и отдал книжку.

Пришел отец этой девушки. Похож на мужика и в сапогах.

— Эт што за Жлоборатория? Вам чего?

— Нам на ночевку, — сказал Иван.

— На ночевку вам? Што тут, ночлежный дом, штоль? Откуда сами?..

— Суржинские мы.

Подошла к отцу сама барышня.

— Пускай, пап, остаются. Они хорошие.

— А если што пропадет, ты отвечать будешь? Дыня-голова, обалдела, штоль? Вшей тут плодить?..

Наконец-таки отец умиловился.

— Ну пушай в передней лягут и глаза мне не мозолят.

Ночь нашла тучей. Тихо и беспросветно. Иван с Каспийской невестой лежали рядом на попенке. Невеста спала. Иван дремал. И тихо из комнаты забубнил голос хозяина, как будто закапала вода.

Иван прислушался. Отец девушки читал. Тикали часы и капали слова.

«О земле и о душах тварей, населяющих ее» Сочинение Иоганна Пупкова

«Ты жил, жрал, жадствовал и был скудоумен. Взял жену и истек плотью. Рожден был ребенок, светел и наг, как травинка в лихую осень. Ветер трепетал по земле, червь полз в почве, холод скрежетал и день кратчал.

Ребенок твой рос и исполнялся мразью и тщетой зверствующего мира. А ты благосклонен был к нему и стихал душою у глаз его. Злобствующая зверья и охальничья душа твоя утихомиривалась, и окаянство твое гибло.

И вырос и возмужал ребенок. Стал человек, падкий до сладостей, отвращающий взоры от Великого и невозможного, взыскуя которых, только и подобает истощиться всякой чистой и истинной человеческой душе. Но ребенок стал мужем, ушел к женщине и излучил в нее всю душевную звездообразующую силу. Стал злобен, мудр мудростью всех жрущих и множащихся, и так погиб навеки для ожидавших его вышних звезд. Они стали томиться по другому. Но другой был хуже и еще тощее душою — не родился совсем.

И ты, как звезда, томился о ребенке и ожидал от него чуда и исполнения того, что погибло в тебе в юности от прикосновения к женщине.

Ты стал древним от годов и от засыпающей смертью плоти. Ты опять один и пуст надеждами, как перед нарождением в мир сей натуральный».

Часы вдруг перестали тикать, и Иван заснул до утра напролет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

в коей Иван знакомится с разным лядящим людом

Солнце в городе — пасмурное, слеповатое и вроде с насморком — золотым песком лучей не шваркает оно из утра по окнам: застревают лучи в плотных тучах гари и копоти.

А шлепает изредка солнце грязные и лысые пятерики об камень, об крыши. И пятерики эти тусклы и не так ласковы. Они утром не разбудили Ивана, не разбудили и Каспийской невесты.

Разбудило их другое — хихиканье и сюсюканье за дверью из коридора.

Иван прислушался. Разговоры за дверью:

— Хи, хи, хи, а бабеночка-то у него — хи хи! — хорошенькая, мяконькая да сдобненькая...

— А грудка-то, папенька, грудка-то у нее, как две просфорочки... Ах, ах, ах!

— Пшел вон, чертенок, дай-ка я загляну разок!

— Загляни, папенька! Иван вслух подумал:

— Ишь, черти, какие похабные люди оказались, а? Отец и сынок. И быстро вскочил он, толкнул дверь пинком. Раздался стон и ох:

— О-о-о-х, ч-черт!

Папенька гладил рукою лоб, на лбу вздувалась красная шишка.

— Ах, ты старый развратник! — захохотал на него Иван. — В щелочку подглядывал? Все у вас в городе такие, ай ты один?

— Все, дяденька, — ответил за отца сынок, оказавшийся верзилой лет 17-19.

— Что же вы, городские люди, в бабе одну бабу видите? Человека в ей нету, по-вашему?

— А что ж? Баба — существо дешевое, разумом тощая...

Иван поглядел на невесту — стоит, не ответит. Богатая душа, немое гордое сердце.

Вышел Иван с ней на улицу.

Осеннее солнце нагнетало силу в землю — и земля шевелилась, и шевелилось все, что живет на коже у ней: селения и города всякие.

Человек, как арбуз, — ночью растет, а днем споет. Ночью из тела вся усталость выкипает и из живота втекает в мозг и в сердце питательная сила, бывшая хлебом, полем и солнцем.

Шли-шли Иван с Каспийской невестой. Есть охота взяла — сели на каменные порожки, чтоб животы не растрясать зря.

Подошел к ним человек. Высокий, худой и сумрачный весь... Стал против невесты и говорит, как бы сам себе:

— Вот что, дорогие жизни. То, что делает жизнь и привязывает меня к ней... Женщина, я гляжу на тебя и не требую больше смысла жизни и не ищу истины. Я доволен... Благодарю тебя... Будь здорова и бессмертна».

И человек этот поклонился низко и пошел далее своей дорогой.

Иван помозговал некоторое время и догнал этого человека.

— Ей, есть охота...

Человек остановился.

— А ты кто ей?

— Брат.

Человек вынул из кармана кой-какие бумажные средства, снял перстенок с мизинца и ссыпал все это в горсть Ивану.

— Возьми, брат, я едой и охотой за деньгами не занимаюсь... Ничего более нету. Все умятется всяк земнородный...

Иван пошел к Каспийской невесте. Гляди, и тот воротился к нему.

— И тля зрит и мудрует, — не только человек — царь праха. Поэтому беритесь и питайтесь. Но не множтесь — довольно даже одного человека на земле. К чему миллиарды их? И пойдёмте со мной. А то тебя (он на невесту поглядел) украдут тут...

— Кто ее украдет? — спросил Иван.

— Человек жить не может — он боится своей души и спускает ее в женщину. Если прекрасна женщина — душа в нее уйдет сразу вся. Только раз надо совокупиться с нею — и душа утечет с семенем вся.

Иван слушал и не понимал.

— Пойдем со мной, — сказал этот человек ему, — я тебе расскажу про все. Больше меня никто не знает.

И они пошли по улицам, мимо людей, не замечая бешенства мятущихся во имя истребления самих себя.

Люди работали, чтобы иметь над головой крышу, на теле одежду, в животе хлеб — и чтобы по ночам спускать все, накопленное за день, жидким прахом в недрах женщины, отправляя ее — чтобы иссушить в ней почву, из которой расплодится спасающее безумие.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ В электромагнитном океане

Немощь Вселенной была нарушена электричеством — тончайшим и легчайшим газом, пылью пылинок, который скучился, смерзся в вещи и родил все остальное.

Инженер Баклажанов

Привел Ивана с Каспийской невестой сумрачный человек в тихий длинный одноэтажный дом.

— Тут я обитаю...

Вошли туда. Большие прохладные комнаты, и полны они низкими прочными столами, а на столах посуда и медные механизмы.

— Сам я электротехник. Занимаюсь вот исследованиями над сутью электричества.

Иван вскинулся. Он вспомнил, как сам электричеством увлажнял траву и, как ученый, делал им бессмертных людей.

— Ты, значит, знаешь, что такое электричество? — спросил он.

— Да, теперь знаю.

— Расскажи мне, как и что...

И инженер начал рассказывать — просто, для простого человека, жарко и внушающе, потому что знание у него становилось сердечным чувством.

— Есть много наук, а не одна. И есть много людей, которые говорят, что они ученые. Но это неправда — знающих людей на свете очень мало. Знанием люди торгуют, как товаром. И таких больше всего. Раньше люди угнетали один другого собственностью, имуществом, а теперь знаниями. Знание стало имуществом и товаром, кто его имеет, тот и торгует им и живет богато.

Но такие не все. Есть ученые, которые наращивают свои знания, а не торгуют ими. Кто не познает дальше, чем его выучили, тот темнее того, кто и читать не умеет...

Я ненавижу мир, где живет бессмертный человек-поработитель. У него отняли револьвер и фабрику, тогда он начинает угнетать чужою высокой мыслью, строящей вещи. А эту мысль и великие экономные способы работы он сам купил юношей на деньги отца-рабовладельца. Я ненавижу таких и борюсь с ними насмерть и одолею их, конечно.

Инженер улыбнулся измученным сухим лицом и закурил папироску.

— Я хотел еще рассказать тебе про электричество. Электричество — очень простая вещь, поэтому-то про него трудно рассказать, ибо слова сотворены человеком для хитрости и обмана другого, для сложных вещей, а не простых.

Железо, почва, трава, люди, глина и все другое состоит из особых мелких невидимых зернышек, которые по-ученому называются атомами, то есть неделимыми частями. Кучи атомов и есть вещи. Эти атомы движутся, а не стоят на месте. Если вещь никто не трогает и ничто на нее не влияет, то атомы идут плавно один вокруг другого. Но этого не бывает, солнце и люди постоянно тревожат вещи, не дают им покоя, атомы сбиваются с плавных путей, ударяются друг о друга, копятя, трутся по поверхности — и от них летит пыль. Сам атом меньше в миллионы раз любой песчинки, но и от себя он еще испускает пыль, когда извне нарушается его путь. Эта атомная пыль легче света и летит с ужасающей быстротой во все стороны. Она не знает остановки, она проникает через все тела, она меньше всего, что есть. Атомная пыль и есть электричество.

Я думаю, тебе это понятно?

Иван замер и слушал. Он ничего не видел и не слышал, кроме крутящихся атомов, грохота их столкновения и шума бури их пыли.

— Свет есть тоже эта пыль — электричество. Значит, от атомов отделяется пыль, и они меняют сами, потому что превращаются в свою пыль. И будут менять до тех пор, пока не пропадут совсем. И пыль их пронесется по невероятным, неисчислимым пространствам и путям, так велик был удар атом об атом по сравнению с величиной отколовшейся пылинки. Пыль эта вынесется дальше самых крайних звезд, дальше млечного пути — и там, за последними границами, ослабеет, замедлит полет, к ней подлетит, ее нагонит следующая волна атомной пыли — образуется сгущение, сплочение пыли — и народится опять из склеившихся пылинок атом, а из атомов материя, вещь. Это вещество станет звездой, планетой на небе и опять в тот же миг начнет разрушаться и выделять электромагнитную полиатомную пыль, которая, исчезнув за чертами Вселенной, народит там звездные рои.

Такой идет круговорот во Вселенной. Из электричества нарождается вещество и от электричества оно умирает, чтобы опять через миг воскреснуть и зацвести другим огнем. Но по сравнению с этой атомной пылью, с этим электромагнитным океаном, вещества очень мало, оно плавает редчайшими островами в пучинах электросферы. Вселенная, это электросфера...

У Ивана полным ходом шла голова, для мозга еле хватало крови из сердца.

Слово есть двигатель мысли.

ГЛАВА ДВАЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Звездные руки

Мы рассказываем о тех, кто делает будущее, о тех, кто томится сейчас тяжестью грузных мыслей, кто сам — весь будущее и устремление.

Таких мало, они затеряны. Таких, быть может, нет. Мы о них рассказываем, а не о тех, кто гасит жизнь в себе страстью с женщиной и душу держит на нуле.

Авторы

Вполоборота повернулась вокруг себя земля — и стало утро, а был вечер.

Проснулся инженер и начал говорить дальше.

— Если взять атом. Его нельзя приметить. И только великие миллиарды их, сплотившись, образуют вещь. Если же пыль трущихся и разрушающихся атомов взять, то ее не обнаружишь никакими приборами — будет одна пустота. Межзвездное пространство до сих пор не изучено. Про него говорят — эта пустота, эфир.

Это неправда — там невероятно тонкий газ, легче в миллионы раз водорода, легчайшего из известных газов. И невообразимо деятельнее всех газов. Это — электромагнитная энергия, электросфера. Это — дым разрушающегося вещества.

Но пыль пылинке рознь. Они не все одинаковы. Как и атомы тоже неравны: есть больше, есть меньше.

Эти пылинки, налетая на вещество, могут дробиться пополам, натрое и на много долей. Эта раскрошенная пыль от столкновения с материей дает газ еще более тонкий, невесомый, не ощутимый ничем, чем электричество — первичная, так сказать, пыль самих атомов. Эта же вторичная пыль пыли есть магнитная энергия. Электрическая энергия и магнитная всегда вместе, потому что вихрь атомной первичной пыли и новые волны этого газа из недр вещества вызывает столкновение пылинок между собой и раскрошение их. Поэтому магнитная энергия оказывает тормозящее, задерживающее действие на электричество, ибо пылинка атома, дробясь, отнимает часть силы от всей волны...

Сегодня покидаю землю. Ни к чему я тут. Аппарат почти готов.

— Как же ты полетишь в пустоте? — спросил Иван. — Державы там нет никакой.

— Я поплыву, не полечу по электричеству. Электричество — газ легкий, но есть легчайший — магнитная энергия. Ею, пылью пылинок, я наполнил снаряд. Он легче и пустее, чем голубое межзвездное море. Там электромагнитные волны, у меня же в снаряде одна магнитная энергия. Я сделал как бы воздушный шар для полета с звезды на звезду. Его еле сдерживают сейчас стальные канаты, так он легок и стремителен. Пойдем — поглядишь...

Они вышли во двор, прошли садом на другой дворик, весь обнесенный кирпичной стеной с торцовой кладкой.

Стоял над землей и колебался в воздухе пузырь неправильной формы, вроде тыквы. Его держали десятка два стальных канатов из тонко свитых нитей.

— А куда ты залезешь? — спросил Иван.

— Там внутри есть малое место. Там и помещусь. Все едино, где ни быть. Счастье не в пространстве мира... Хочешь поплывем со мной. Хотя мне никто не нужен. Делай сам для себя это. А твою подругу оставь здесь — пусть она не загораживает твоих очей от мира и не режет душу надвое. Она не пропадет. Такие, как газ, неуловимы и непобедимы.

— Ладно, — сказал Иван — залезь в пузырь. Харчи там есть?

— Харчи есть. Либо мастерские пойти запереть? Иль не вернемся, как думаешь?

— Не воротимся. Пускай отперты. Более не потребуется.

— Ну, полезем.

Они влезли через верх в темную колдыбаженку, скорчились там и завинтили вход на болты со многими прокладками между фланцами. Концы стальных канатов входили внутрь каютки, чтобы их можно было перепилить, не вылезая. И Иван принялся перепиливать их.

А Каспийская невеста еще спала в мастерских инженера; одна теперь останется на белом свете. Так и сгинет теперь без вести. Все на свете так — ничему не ведется учета. Кто родился, кто пропал. Человек не дорог еще и не нужен человеку.

Прощай, Невеста! Пусть сократятся твои дороги по земле и душа наполнится легчайшим газом радости. Не во время ты родилась. Для тебя время рождения никогда не придет. Ты из членов того человечества, которое не рождается, а остается за краями материнской утробы. Ты — тощее семя, которое не оплодотворяется и не разбухает человеком. Нечаянно твое гиблое начальное семечко слепилось с другим таким же обреченным семечком, и вылепился человек, который не бывает, а если бывает, то слепит глаза людям чудом — и погибает без вести, как ветер, уткнувшись в гору.

И Иван с инженером оторвались от земли и выплыли в вышние звездные страны.

В черноте и великой немости стояли звезды вокруг, как большие неморгающие очи, и плакали светом.

Иван оглядел все небо и нашел, что на нем все обыкновенно и особых чудес никаких нету.

Звездные руны плыли за магнитным пузырем. И качала электромагнитная пучина магнитный небесный корабль, а в нем два человека стремились найти новую обитель в пространстве, чтобы найти там неведомые мощные силы и ими изменить родину — землю.

— Мы плывем прямо на солнце, — сказал инженер. — Так и должно быть по моим расчетам. Ибо солнце есть магнитный полюс Вселенной, который и тянет наш снаряд. На солнце мы и обоснуемся с тобой.

Внизу, в глубине, на земле под ними ехал мужик Макар из Мармышей в Белые Горы.

— Н-но, ошметок, тяни, не удручай! Потягивай, не скучай!

Ехал Макар пустыми ветряными полями и разговаривал:

— Мне нужен хлеб. А кто его даст? Намолотил, вон, три копны. Душа также надобна. Как ее изготовить, когда неведомо творение...

А люди живут, что?

Нет тебе никакого направления, либо што чего!.. Нет тебе нигде ни дьявола...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

полная всяческих неожиданностей

— Скушно мне, товарищ инженер, — сказал Иван Копчиков, — тошно без делав болтаться на воздушях!.. Сколько ж мы еще лететь будем, а? И может, мы не летим вовсе?

Инженер посмотрел на какую-то машинку и побледнел:

— Лететь-то мы летим, да только не туда, куда хотели.

— Как же это так, товарищ инженер, а? С рельсов сошла, что ли, ваша машина? Куда же мы теперь летим?

— Не знаю. Только не к солнцу. Посмотри туда.

Иван заглянул в окошечко. Сияющим подсолнечником осталось в боку солнце.

— Гляди туда!

Иван поглядел в другое оконце: красный шарик, как мячик, висел в воздухе:

— Это что?

— Наша земля. Мы летим прочь и от солнца, и от земли.

— Та-ак. Значит: совсем мы заблудились в небесах, товарищ инженер? Ловко. Этак мы до самой смерти никуда не долетим, а!

— Может быть.

— Вот это весело!

— Н-да-а...

А земля и солнце — совсем пропали: не видать их в окошечке. Стало совсем темно, по временам, будто светляки в лесу, вспыхивали по сторонам какие-то точки...

— Это что же вспыхивает, а!

— Планеты. Земли разные.

— Здорово. Вот бы их рожью, пшеницей засеять, товарищ инженер, а? Большие они будут — эти самые земли? Поболе нашей-то?

— В несколько тысяч раз больше.

— Ого-то. Надо бы одну такую себе забрать, а?

— Придет время, когда сделаем и это.

— Придет?

— Обязательно.

— А сейчас мы где? Инженер зажег свет.

— Нас захватила какая-то планета и волокет за собой.

— Видел ли ты как за поездом летят соринки разные, легкие?

— Видел. Ну вот, такой соринкой, только в тысячи тысяч раз меньшей, летим и мы за планетой, как за поездом. Только наш поезд летит со скоростью в несколько тысяч верст в какие-нибудь миги.

— Вот-таки поезд, как гонит, а? Зацепить бы за него нашу землю, а и отволочь поближе к солнцу, чтоб везде зима перестала быть, а? Можно это?

— Можно. Но нескоро.

— Так. Ну, я пока закушу.

Но Иван не успел закусить. Прямо против него, в окошечке, вдруг засветилась голубым светом какая-то кругляшка.

— Товарищ инженер, голубая земля — в окне. Поглядите. А кругляшка уже с картуз величиной стала и с каждой секундой все росла и росла. Инженер аж зашатался:

— Ну, Иван, мы прилетели. Еще немного — и мы на голубой земле будем. Только я не знаю, что это за земля и есть ли там жизнь. Это — неизвестная совсем в науке звезда.

— А разве наука все звезды знает?

— Все.

— А эту не знает?

— Нет.

— Плохая ваша наука.

— Да, она еще не все знает.

А голубая звезда вдруг стала краснеть, краснеть и совсем, вот, покраснела. Бордовой стала и закрыла все окно.

— Есть. Сейчас на земле будем. Слышишь?

— Слышу, товарищ инженер. Будто птицы поют где-то.

— Это — не птицы. Это — что-то другое.

— А что?

— Не знаю. Увидим. Ну, теперь давай вылазить.

— Как вылазить? Да, разве ж мы прилетели?

— Уже!

Инженер начал отвинчивать дверцу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Стал быть мрак

Грунт был тверд на этой звезде. Воздух жидок и ветра не примечалось. Народа было не видно — скуден был, должно, и худосочен.

Все было не по-людски и не по-мужицки. Земля стоит испаханная, почва — бордовая, как барская попона, жидкостей нету, тварей тоже незаметно.

— Ну и свет! Какой делал его светодиавче! — сказал Иван. — Не похвалю. Тут и вша не плодится!

— Оглядим, — проговорил осовевший, задумавшийся инженер, — у всякой поверхности должен быть смысл.

— Оно так! Одначе, скорбь тут и жуть. Никто не шарахнется и не пробрюзжит. Надо отсюда подаваться. Тут нам не жить.

Пошли. Бордовая почва очертенела — чернозему ни комка не было. Шли долгую продолжительность.

Глядь, движется к ним какой-то алахарь. Одежи на нем нет, головы тоже не наблюдается, так, одна хилая ползучая мочь и в ней воздыхание.

— Остановись! — крикнул Иван. — Кто такой будешь и что это за место на небе?

И вдруг, весьма вразумительно, по-русски, по-большевицки, движущееся вещество изрекло из глубин своих:

— Тут, товарищи, рай. Место это Пашенкино называется.

— Отчего же ты такой чудной? Дранный весь, на обормота похож, и как ты заявился сюда?

— С земли мы родом, а тут превратившись... Там на земле давно чудеса делаются. Великие люди в тишине делами занимаются. И по одному пропадают с земли на своих машинах. Так мы тут очутились. А один наш так и пропал в вышине. А мы тут рай учредили.

— Это што за место — рай? Является ли он следствием экономических предпосылок?

— Рай — это блаженство. Питание и совокупление, равновесие всех сил.

— Веди нас в рай, — сказал Иван, — дай опомниться. Как в таком незавидном месте рай учрежден, на бордовом грунте...

Пошли. Невелик был путь и одинаков по всей поверхности своей.

И засияли странникам вдруг в высоте четыре каланчи из бордовой глины. И слышалось оттуда благоуханное смиренное пение.

— Это кто завыл? — спросил Иван.

— Это поют расцветающие души, обреченные на любовь, на совокупление с присными себе и на смерть.

— Везде эта любовь, — сказал Иван, — и на земле и на небе. Не нашел еще я себе места, где бы не любили, а думали и истребляли бы любовь по-волчьи. И чтобы песнь была у таких людей одна — война с любовью... Любовь и любовью. Когда ты, язва людская, молью будешь изъедена. Сука голодная... Ну, а кого же вы любите?

— Все зримое, — ответило живое вещество, колебаясь и влачась по поверхности почвы.

— А чего ж вы зрите?

— Мы не зрим, а чуем всю теплую плоть, влекомую стихиями Вселенной, и к ней касаемся объятиями и исходим душою.

— А что такое душа твоя?

— Лишняя тревожная сила, которую надо излить на другого, чтобы стать спокойным и счастливым. Душа — это горе... В нашем раю души истребляются и потому тут рай.

— Чудодейственно. А ну, покажи рай самый. Вошли в каланчу одну. Стояли торцом такие же живые скудости и скулили.

— А вы все были людьми прежде? — Это Иван спрашивает.

— Людьми, а как же? — ответила тварь.

— До чего ж вы дошли? Неужели ж вам хорошо тут?

— Отлично. Покойно и благопристойно.

— Да брось ты, чучел! Вы плодитесь, аль нет?

— Мы бессмертны.

— А еще кто есть на этой планете?

— Дальше в пустынях есть кто-то. Но они к нам не приходят, и мы к ним, потому что мы в раю.

Иван потрогал райское существо — жидко и хлебло. Дай, думает, я ему шарахну разик, все одно звезду зря гнетут. Какой тут рай, если б тут жили злобствующие, я б их уважал, а то мразь блаженная. И Иван дернул существо кулаком по сердцевине. Тварь вдруг тихо выговорила:

— Мне не больно, потому что я люблю и нахожусь в раю. Меня облекает Вселенная всем светлым покровом своим и сторожит мою душу... Я только исчезнуть могу сам из любви к тебе, раз ты хочешь того...

— А ну исчезни! — обрадовался Иван.

Существо вдруг и на самом деле исчезло неведомо как и куда. Пошли дальше. Нашли еще четыре пары таких существ и сказали, чтоб они тоже исчезли. Они исчезли тоже.

— Теперь просторно! — сказал Иван.

— Пойдем, поблужаем. Может, найдем что посущественней... Как они каланчи себе эти огородили... Необходимо человеку за звезды приняться. Загадили их тут вконец. А с земли глядишь — высоко, свет чистый, полет правильный. А тут уж успели рай учредить...

Шли долго по миру планеты. Питались глиной бордовой, испражнялись сухим пометом. Болезнетворно. Пришли на великую гору. Глядят вверх — спускается к ним оттуда пожилая личность — человек, сам голый, и заметок никаких нет, не то мужик, не то баба.

— Опять скот какой-нибудь, — подумал Иван. А инженер думает без слов. Ученый человек.

Подошел человек поглядеть — не поглядел и пошел прочь дальше в пустыню, где незакатное солнце мигало и должно быть тухло.

Иван и инженер оглянулись на человека прошедшего и на замигавшее солнце. Человек остановился, а солнце вдруг потухло.

И далеко на небе что-то зарычало, расступилось и ухнуло в голосистой последней тоске. Стал быть мрак.